

И

А. АРТАМОНОВ

А — 86

ОТ ДЕРЕВНИ ДО КАТОРГИ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ПЕРЕРАБОТАННОЕ

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — 1929 — ЛЕНИНГРАД

к И.
11415

Отпечатано в типографии Госиздата
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“.
Москва, Краснопролетарская, 16,
в количестве 5000 экз., 6 л.
Главлит № А—32801
Заказ № 8892.



43022 мж

1945 г.

№ 8-1453-48

I

Я родился в 1889 году в Псковской губернии. Мои родители—крестьяне. Отец, возвратившись после семилетней военной службы, своего родителя в живых уже не застал. Всем хозяйством управлял его старший брат. Женившись, отец отделился и получил свою долю: полторы десятины земли, огород, лошадь, старую корову и ветхую избу. Жили бедно. Лошадь увезла от старости. Уж я не знаю, как это случилось и по каким причинам, только помню плач матери и бабушки, жалостливо глядевших на нас. Оказалось, что мать с отцом собирались куда-то ехать, брат же оставался с бабушкой, то есть у матери отца, а меня отправляли к родителям матери—к бабушке и дедушке—за пятнадцать верст от нашего жилья, в деревню Дягильцево.

Из жизни у дедушки с бабушкой лишь немного осталось в памяти. Как-то в один прекрасный день приехала из Питера мать и привезла «мякушки» (ситный хлеб), а также новенький костюм и сапоги для меня. Отца почему-то не было.

Помню, мама говорила дедушке, что Николай отстал на станции от поезда. Мы долго его ждали. Наконец он приехал, вернее, пришел. Выяснилось, что отец все деньги и одежду пропил и пришел пешком к дедушке. Я его видел в этот день лежащим на печке: он почему-то не хотел сходить оттуда. Отец с матерью недолго жили у дедушки, решили опять ехать в Питер

и взять меня с собой, брата же оставили у матери отца.

Очень ярко вспоминается мне наше путешествие по полям, по лесам, через деревни, села и городишки. Все это было для меня ново, и я радовался, но много итти не мог, а большей частью ехал на «березовом» кондукторе, то есть на отцовской спине, что вызывало смех у питерских ребятишек. Рано ли, поздно ли, но в Питер прибыли. Питались тем, что люди давали. Мать просила «христа-ради» и меня заставляла. Остановились мы у земляков. Отец с матерью поступили на фабрику картон-толь Наумана. Когда бабушка умерла, из деревни прислали моего брата. Здесь же в Питере наша семья еще увеличилась: родилась сестра, а мне, как старшему, выпала работа—нянчиться с сестрой, что мне давалось весьма туго: я частенько съедал кашу сестры, и раз, купаясь, задумал также выкупать и сестру, и чуть было не утопил ее. Конечно, за такие промахи попадала дерка от матери, а потом от отца.

Сначала жили мы по Шлиссельбургскому проспекту, но так как там квартиры были дорогие, переехали на Мариновскую улицу. Жили как будто ничего, но вот случилась беда. Отец работал рольщиком на Науманской фабрике, мать—там же сортировщицей тряпья. Однажды отец, придя раньше с работы, забрался на русскую печь и все стонал. Оказалось, что он надорвался. Долго он не ходил после этого на работу, и, конечно, жалованья и никаких пособий не получал. Мать работала одна, получая восемь рублей в месяц. Квартира стоила четыре рубля в месяц. Ясно, что жить было трудно. Сперва крепились, кой-что продавали, но в конце концов и продавать было уже нечего.

Тогда мать послала меня с братом просить милостыню. Помню, как мы первый раз пошли просить: зашли с братом в квартиру, тот стоит и я стою,

молчим; нас спрашивают, что нам нужно. Мы заревели, и сквозь слезы я сказал, что мама хлеба хочет, хотя больше сами хотели. Нас накормили и дали по ломтю хлеба. Мы больше никуда не пошли, а прибежали домой и рассказали матери, что нас накормили; отец заплакал. Впоследствии оказалось, что отца совсем уволили с фабрики, потому что он не мог уже исполнять прежней работы. Началась скверная, маетная жизнь; отец работал поденно, где попало: то землю рыл, то воду возил, а тут еще прибавилось несчастье—отец стал сильно пить. Что ни заработает, то пропьет, домой приходит пьяный, мать его ругает, а он дерется. Так тянулись дни...

Бедная мать все время работала на той же фабрике, а по вечерам ходила стирать белье. Но все же голод из-за пьянства отца все время преследовал нас. Нищета в нашей семье свила себе прочное гнездо.

Но вот открылся на нашей улице детский сад, и я стал ходить туда. В этом саду учительница старшего класса—Елена Николаевна—полюбила меня за мои способности. Она помогала моей матери; свои последние крохи учительница уделяла нашей семье. Но нищество все же не покидало нашу семью.

В детском саду я выучился читать, даже записался в библиотеку; меня главным образом интересовали книги о войнах горцев с русскими. На второй день Пасхи, днем, загорелся наш дом. Жили мы на втором этаже. Страшно испугались. Я был на улице. Отец вынес сонных брата и сестру и пошел спасать вещи, но сухой дом быстро вспламенился, и отец к нам больше не вернулся. Рассказывали, что он успел выбросить из окна кой-какие вещи, но назад вернуться не мог, потому что пол под ним прогорел и провалился.

Мать была в обмороке, я же все не верил, что отец сгорел, и всячески утешал мать, говоря, что он придет. Брат мой тоже не верил и целый год ходил, разыскивал

отца по артелям извозчиков, где тот часто работал и водил его с собой.

Отца не стало, и мы трое остались на руках у матери. Я был уже большой. Надо было поступать в школу. Меня определили в церковно-приходскую школу. Попечителем этой школы был фабрикант, у которого работала моя мать. За него же вышла замуж учительница детского сада—Елена Николаевна. Попечители стали давать моей матери помощь—четыре рубля в месяц. Поступил я сразу во второй класс, но хотя для окончания школы требовалось только два года, я ее, однако, не кончил, несмотря на то, что считался самым способным учеником. Первую зиму я неаккуратно посещал школу и потому не сдал экзамена для перехода в третий класс, а на второй год матери было тяжело содержать нас троих, и я в школу перестал ходить. В школе учительница относилась ко мне очень плохо и часто меня наказывала, хотя там были большие шалуны, чем я, как, например, сыновья купца Тредьякова, которым все сходило и которые, кстати сказать, в каждом классе сидели по два и три года. Был и такой случай: собралась школа в экскурсию в Павловск. Учительница сказала, чтобы каждый принес по двадцать копеек. Где мне было взять такие деньги? Со слезами на глазах я выпросил двугривенный у матери. Собрался, прихожу на сборный пункт в школу. Учительница осмотрела меня и говорит:—Ты не пойдешь. У тебя рваная одежда, да и рубаха, наверно, со вшами.—Мне было обидно это слышать от учительницы: мать наша ночей не спала, но нас обмывала и обшивала. Я в рев, но ничего не помогло. С тех пор я возненавидел учительницу. Все это, конечно, отражалось на моих успехах.

Так кончилось мое учение в школе, ничего ровно мне не дав, и меня определили в булочную, без жалованья, в ученики.

II

В ученики меня взял «сердобольный» хозяин булочной Тетеркин, который мне часто говаривал, что «из-за нужды матери я тебя, обормота, взял». Что это было за учение—страшно вспомнить. Во-первых, я должен был вставать в четыре часа утра и помогать пекарю. По окончании этой работы я должен был поставить самовар для приказчика, пекаря, хозяина и хозяйки, помочь готовить обед хозяйке, начистить картошки, растопить печку, поставить вариться суп и разбудить хозяйку. Я должен был развозить хлеб, баранки, затем пойти в ближайшую булочную и привезти для нашей лавки булок, торговать в лавке, так как пекарня была с мелочными товарами, подметать лавку, держать ее в чистоте и порядке.

На моей обязанности было также бегать за водкой для пекаря, а если не было хозяина дома, то и для хозяйки. И так я работал до двенадцати часов ночи изо дня в день целых два года. Жалованья мне, конечно, никакого не платили, обещали матери одевать меня, но и это соблюдали плохо: за два года купили одни брюки и две рубахи с кальсонами да пиджачишко. Всю одежду я носил материнскую, которая передельвала на меня из тряпок. Были моменты, когда меня подозревали в воровстве, на самом же деле пекарь с приказчиком тянули все, что попадало, и мне строго наказывали молчать. Если же я проговаривался,—били нещадно. Бил и хозяин за то, что я не доносил, считая, что я вместе с ними ворую.

Однажды племянник хозяина утащил с прилавка пятьдесят рублей и спрятал под крыльцом. На кого подозрение? Конечно, на меня, безродного или «посадского», как они меня называли. Хозяин ко мне пристал, начал пытать и бить ремнем, я не стерпел, схватил весло, которым месят тесто, и трахнул его по голове. Он взвыл, разозлился и побежал за мной в лавочку.

Я же схватил нож и стал кричать, что, если подойдет, зарежу. Мой ли решительный вид или же хозяин одумался, но он отстал, сказав:—Повидимому, не он украл.—Впоследствии выяснилось, что деньги украл его племянник. С тех пор хозяин стал меня уважать, и когда приходилось ему ехать в город за товаром, он за кассой оставлял меня. Но опять горе: его жена стала меня ненавидеть. Начались опять скандалы, и я, не вытерпев, сбежал к матери. Как потом меня хозяин ни упрашивал и жалованье обещал семь рублей в месяц, однако, я уже больше не пошел ни к нему, ни в другие лавочки, куда меня приглашали. Меня тянуло на фабрику.

III

У матери был хороший знакомый—пашковец (пашковцы—религиозная секта), который служил старшим подмастерьем в красильной мастерской на ситценабивной фабрике «Паля». Он был сыном выходца из рабочей бедной семьи и своей практикой добился должности подмастерья. Этот человек вошел в положение моей матери и обещал выхлопотать мне место на фабрике. Но вот беда: на фабрику не принимали подростков до четырнадцати лет, а мне было всего двенадцать. Мать решила написать в волость о прибавлении мне при высылке нового паспорта двух лет, но там прибавили только один год. Опять беда. Кто-то надоумил мать похлопотать у околоточного надзирателя, и последний действительно за некоторую мзду как-то сумел приписать мне еще год. Когда меня принимали на фабрику, директор сказал:

— Мал ростом, но бойкий.

И меня взяли.

Поступил я на первых порах в палильную мастерскую. В ней докрасна накаливали нефтью медные полукруглые листы печи и на этих листах спаливали ворс. Машина работала быстро, чтобы не сгорела материя.

Обязанность мальчиков, а нас было четыре в смену, заключалась в том, что двое расправляли кромки, тогда как другие палкой укладывали мокрую материю рядами. Обе пары менялись, то есть одна пара укладывала, а другая расправляла кромки, и наоборот. Жалованья здесь платили рублей восемь в месяц за десять с половиной часов работы в день. Подмастерье старался выхлопотать мне перевод в свою мастерскую, и это ему удалось. Мастерская работала сдельно, и мальчику тоже платили сдельно; рабочие зарабатывали рублей по сорок в месяц, мне же платили половину, то есть двадцать рублей.

Моей работой было принести по рецепту мастера или старшего подмастерья краски и их варить, запастись соду, делать раствор для мытья рук и быть на посылках у мастера и старших рабочих. С этими задачами я вполне справлялся. Мастер любил меня (кстати сказать, он был австрийским социал-демократом), любили также подмастерья и рабочие. Рабочие дали мне кличку «Сынок», которая пошла потом со мной и в подполье. Проработал я там недолго, со мной случилось несчастье: сломал ногу. Пришлось отлежать в больнице три месяца. Как только я вышел из больницы, меня опять взяли на прежнее место, хотя нога не сгибалась целый год спустя.

С этого времени меня охватывает религиозное настроение. Я зачитываюсь священной литературой и вступаю в дискуссию с подмастерьем-пашковцем. Дискуссии эти были общим явлением на нашей фабрике, ибо пашковцев было много, и все народ положительный: вышеназванный подмастерье, заведывающий кладовой, где я брал краску, его помощник-литовец и модельщик из механической мастерской, которого звали апостолом пашковцев.

Споры меня увлекли, и я начал читать евангелие и библию. Как-то раз модельщик предложил мне читать евангелие ночью и думать о Христе, чтобы он на меня

снизошел. Но сколько я ни старался, ничего, конечно, не вышло. Несмотря на это, пашковство меня увлекло, и я посещал их собрания. Матери своей, православной, я стал рассказывать, что иконы—выдумки людей, что они не нужны, что церковь должна быть в душе каждого человека, а попы—обманщики, торговцы и фарисеи. Одним словом, я старался выбить у матери из головы одну галиматью и вбить другую. Мать в ужасе слушала «антихристовы» слова, но не сердилась, а только творила молитву. Не сердилась она потому, что любила меня, и потому, что я зарабатывал и все отдавал ей. Мать видела, что, как только я стал работать, нищенства в семье не стало. Религиозность моя тянулась вплоть до 1905 года, который все мои мысли и энергию направил совершенно в противоположную сторону: я стал революционером.

IV

Что было до 9 января, достаточно уже описано. В то время я был очень молод. Знаю, что была русско-японская война, знаю, что самые необходимые продукты дорожали, а мать каждый день проклинала торговцев и войну. Да разве одна мать только? На фабрике, в мастерской, где я работал, тоже проклинали лавочников, министров и войну.

Слух о забастовке на Путиловском заводе как молния пронесся по нашей фабрике. Рабочие сперва шопотом, а потом уже громче заговорили. Я стал прислушиваться и недоумевал. Недоумевал я потому, что больше всех об этом говорили пашковцы (из них впоследствии большинство сделалось социал-демократами). Раньше я слышал, как бунтовали рабочие, видел, как во время бунта казаки стегали рабочих у Александровского завода. Даже больше того: та фабрика, на которой я работал, тоже бунтовала, и нашего соседа по квартире увезли куда-то ночью в темной карете. Но

из-за чего, почему—я не знал. И теперь, когда рабочие шушукались и упоминали о бунте, мне было непонятно. Рабочие нашей мастерской ругали директора фабрики за низкую расценку на окраску хаки, но о бунте от них я раньше не слышал, а тут вдруг все заговорили.

Упоминали об «11-м отделении» Гапона¹. В это «отделение» я ходил на вечера по субботам смотреть на танцы, был там на Новый год ряженым—и только. Больше ничего не знал, потому что был мал.

Фабрика заговорила о том, примут ли обратно рабочих, и утверждала, что без царя дело к добру не пойдет. Надо идти с жалобой. В Крещение пронеслась весть, что в царя стреляли из Петропавловской крепости, «но бог милостив, не убили министры», так говорил народ.

С седьмого числа вышли на работу, но настроение было тревожное, чего-то все ждали. Я сходил в кладовую, получил краску, но разводить ее не пришлось. Только что я стал разводить,—собрались рабочие в варажское и сказали:—Сынок, сегодня нам краски не надо. Бунтовать будем!—Но вот настал момент, которого ждали. Весть о бунте быстро разнеслась по фабрике, все вошли во двор, и потом, не останавливаясь, на проспект. А мне только этого и нужно было. Вышел я на улицу: там толпа. Разговоры о том, что нужно все заводы и фабрики остановить. Толпа пошла, пошел и я. И начался бунт по всем фабрикам и заводам. Та толпа, которая двинулась от нашей фабрики, прошла по всем другим, выгоняя рабочих и заставляя их бунтовать. Местами сами выходили навстречу, кое-где приходилось пускать в ход ломы и гайки. Я был в этой толпе.

Полиция нам не мешала. Только к вечеру около последнего завода казаки стали нас разгонять нагайками, но и этот завод стал. Так начался великий девятьсот

¹ 11-е отделение — собрания русских фабрично-заводских рабочих, устроенные священником Гапоном. (Прим. авт.)

пятый год и мое бессознательное участие в революционном движении.

8 января уже никто на работу не вышел. Рабочие собирались целыми толпами по Шлиссельбургскому проспекту, рассуждали и обсуждали создавшееся положение. Казаки и конные городовые разъезжали по проспекту и разгоняли толпу нагайками. Толпа молча расходилась в одном месте и опять собиралась в другом. Я сную около толпы и стараюсь уяснить себе, о чем говорят. Слышу: надо идти к царю и просить его заступиться за рабочего человека. Узнаю, что вечером будет большое собрание в «11-м отделении». Приедет сам «батюшка» Гапон.

Вечером я иду к «11-му отделению» послушать. Мать не пускает, но когда узнала, что приедет «батюшка», отпустила. Около «11-го отделения» собралась такая масса народа, что внутрь никак нельзя было пробраться. Рабочие взволнованы, возбуждены чем-то, но «батюшки» все нет. Ждут его. Часов в десять вечера приехал «батюшка». Я его близко не видел: уж очень большая была толпа. Он пришел во внутрь, но народ стал просить, чтобы он вышел говорить наружу. Он вышел. Не помню, что он говорил, но слышал, что толпа все время ему поддакивала:

— Верно!.. Правда!.. Идет... Не брать даже вилки!..

Повидимому, Гапон предлагал тогда идти к царю без оружия. Скоро Гапон уехал. Говорили, что ему надо ехать в другие районы. Но толпа все еще не расходилась. Я понял, что завтра, то есть 9 января, все, как один, должны идти к Зимнему дворцу, к царю с жалобой. Назначили собраться рано утром у «отделения» и оттуда идти в город к Зимнему.

V

9 января считается днем, когда народ открыл свои глаза и посмотрел на свет. В этот день народ потерял

веру в царя. Поэтому 9 января есть начало русской революции, приведшей к Октябрю.

Рано утром, выпив наспех стакан чаю, я начал быстро собираться. Мать спрашивает:—Ты куда?—Я ей резонно отвечаю:—К царю.—Почему-то мать не старалась меня уговаривать не идти: настолько она была уверена, что ничего плохого не может случиться. Отправился. Предварительно зашел к товарищу. Того тоже родители не задерживали, ибо отец сам шел. Мы пошли к сборному пункту, «11-му отделению», и застали там много народа: оказывается, что прибыли рабочие из Обухова и других дальних заводов.

На улицах произносили речи ораторы. Некоторые предлагали вооружаться, некоторые даже вилки не вели брагь. Тех ораторов, которые предлагали вооружиться, народ не слушал, кричал:—Долой, мы не на войну идем.—Так велика была вера в царя.

Наконец двинулись. Вышли на Шлиссельбургский проспект. Появились распорядители. Они велели малышам и женщинам становиться впереди. Все выстроились по восемь человек в ряд и тихо, без шума и песен двинулись. Толпа растянулась на несколько верст. Говорили, что собралось больше пятидесяти тысяч народа. Мы стали подходить уже к Шлиссельбургской пожарной части, когда увидели выстроившихся впереди казаков на лошадях, а перед ними пехотинцев.

От них отделилась группа людей на лошадях и быстрым карьером мчалась на нас. Впереди несся командир и кричал:—Остановись!—Шествие остановилось. Вышли распорядители и начали о чем-то с начальником говорить. Шум поднялся сильный. Казаки выхватили пайки, а некоторые сошли с лошадей и дали три залпа в воздух...

Как впоследствии оказалось, наши руководители стали ругаться и доказывать, что шествие останавливать нельзя, так как оно разрешенное, и обругали командира,

который первым выхватил шашку, а за ним и все его подчиненные. Один из руководителей рабочих, старик-эстонец, хотел вырвать у командира шашку и порезал себе руку. Делегаты вернулись и сказали, что нас не пускают, но толпа все-таки двинулась.

Казачий начальник, видя, что толпа двигается, повернулся обратно к казакам. Они выстроились по команде и, обнажив шашки, бросились на нас в атаку. Я был в первых рядах. Вижу—неустойка. Прыгнул в канаву и лег. Казаки наехали на толпу, но дальше первых рядов проехать не могли, ибо все легли за землю, лошади же не пошли. Тогда офицеры отдали солдатам приказ стрелять. Те дали залп. Вся толпа повалилась на землю. Солдаты дали три залпа, но никого не ранили: они стреляли в воздух.

Казачий начальник подозвал делегатов и стал им доказывать, что ему строго наказано не пропускать рабочих в город всеми мерами, вплоть до открытия огня. А чтобы этого избежать, он предложил желающим перебраться по льду на другой берег Невы, то есть на Охту, а оттуда, как кто сумеет, дальше.

Толпа, не долго думая, отправилась частью по льду, частью через цементный завод на Обводный канал. Я был в той толпе, которая пошла по льду. Мы благополучно перебрались на Охту. С Охты стали опять перебираться на левый берег реки и вышли около Калашниковой набережной. Не успели мы пройти и двух улиц, как сразу же (как будто того и ждали) на нас накинудись с разных сторон конные городовые и драгуны. Они пустили в ход нагайки и шашки. Наше шествие сразу смяли. Я успел удрать с товарищем под ворота, а после того, как полиция и солдаты уехали, мы двинулись в дальнейший путь.

Подходим к Невскому. Со всех сторон стекается народ, а на Невском так и не пройти. На каждом углу стоят солдаты и греются у костра. Ружья стоят в козлах. Разъезжают драгуны, но не дерутся и как будто

вяло разгоняют. Пробираемся по Невскому. Чем ближе к Адмиралтейству, тем толпа гуще, но мы все-таки пробираемся. Мы уже на углу площади и Невского. Уже различаем Зимний дворец, и около—солдат, выстроенных в ряды, и разъезжающую конницу.

Толпа напряженно следит за войсками и смотрит на дворец. Говорят, что царя во дворце нет: он-де уехал в Царское, но толпа не верит. Прибывают все новые толпы: из-за Нарвской и Московской заставы подошедшие рассказывают, как в них стреляли солдаты и рубили шашками драгуны.

Толпа волнуется. Товарищ предложил мне пробраться в Александровский сад и взлезть на дерево. Там-де мы все увидим, и царя тоже. Я посмотрел на деревья: они уже были облеплены ребятами. Меня взяла зависть, и я решил идти. Но толпа была густая, и нам приходилось с трудом пробираться. Мы уже добрались до середины, вдруг слышим: заиграл рожок.— Это, брат, царь идет!—сказал мой товарищ.—Двигаем скорей!—Мы еще прибавили силы, но вдруг—тра-а-а-ах!—выстрел. Мы так и сели. Не успели очухаться,—другой, третий. Народ шарахнулся, и чуть было нас не смяли. Мы скорей ходу. Я случайно взглянул в сад на деревья. Там уж никого нет: ребят как метлой смело. Потом я узнал, что эти залпы были сделаны вверх и попали по ребятам, сидевшим на деревьях. Кого убило, кого ранило, а кто сам с испугу бросился вниз.

Толпа все еще не верила, и задние напирали на передних. Таким образом нас опять придвинули к площади. Вдруг—опять рожок, и сразу залпы, раз за разом. Один мужик рядом с нами вдруг застонал, схватился за ногу и упал. Мы напрягли свои силы и давай удирать. А рожок все гудит, и залпы продолжают раз за разом: тра-а-а-ах, тра-а-а-ах!.. Я не знаю как уцелел и очутился уже на Гороховой улице. Остановился. Слышу: стрельба продолжается. Мой товарищ отстал.

23022



Ему, как впоследствии оказалось, выбили глаз. На санях провезли женщину с разрубленной головой. Голова болтается. Волосы тянутся по снегу, оставляя кровавые следы.

Бегу по Гороховой улице, а тут толпу рубят пашками драгуны. Толпа не знает, куда деться. Я выбегаю на Невский, около Аничкова моста. Здесь народу много. Освирепевшая толпа останавливает извозчиков и снимает всех военных. Одного генерала вытащили из кареты и бросили прямо на лед с Аничкова моста. Вдруг из Екатерининского сада залп. Народ опять шархнул. Я тоже побежал. Уже начало темнеть. То там, то здесь слышался звон разбиваемых стекол и фонарей. Это освирепевшая толпа уничтожает все на своем пути. Много было разбито богатых магазинов и уничтожено дорогих вещей и продуктов. Народ ничего не брал, но с ненавистью топтал.

Спешу домой. По дороге встречается масса солдат, драгунов и казаков. Ругаются скверными словами и грозят народу. Оказываются—пьяные. Их правительство спойло, чтобы они в бессознательном состоянии били народ.

Пробираюсь к себе за Невскую. Домой попадаю в два часа ночи. Мать, узнавшая о расстрелах, мучаясь, ждёт меня. Я пришел усталый и завалился спать.

10 января вышли на работу, но к работе никто не приступал. Все рабочие были угрюмы. Многих не досчитывались. Не было известно, убиты ли они, ранены ли. И так по всем заводам и фабрикам Питера. Рассказывали, что царское правительство ночью, как дрова, вывозило целыми платформами трупы на Преображенское и другие кладбища, сбрасывая всех в одну кучу, как картошку. Молча, не сговариваясь и не обсуждая, вышли рабочие из фабрики. Потянулся ряд забастовок, протестов с требованиями и без них. Никто не хотел работать, потому что 9 января царь расстрелял последнюю надежду: веру в справедливость царя.

VI

В этих забастовках я начинаю принимать самое горячее участие. Задумает ли совет старост бастовать, староста нашей мастерской призывает меня и объявляет:—Сынок, сегодня забастовка. Надо оповестить рабочих.—И я оповещаю. Бегаю по всем мастерским и кричу:—Сегодня забастовка! Кончай работать, выходи!—Задумала ли какая-либо мастерская бастовать,—опять призывают меня и опять мне говорят, что надо бастовать. Я опять бегу по мастерским и объявляю. Как это случилось, я и сам не знаю, но старосты на свои совещания стали приглашать меня. Какая бы мастерская ни делала собрания, приглашали меня. И это меня очень радовало.

Были курьезы. В воскресенье вечером гуляешь, бывало, по улице. Подходит какой-либо рабочий и спрашивает:—А что, сынок, забастовка завтра будет или нет?—и я отвечаю утвердительно. Сам не знаю, почему так было. Я тогда еще не состоял ни в какой партии и решительно не знал, что творится в этих кругах. Но факт остается фактом. Впоследствии я узнал, что мною пользовались многие революционные партии, зная меня как парня, принимающего горячее участие в забастовках и умеющего держать язык за зубами. В то время через меня многие передавали литературу на фабрики, и я ее важно, таинственно проносил и тихонько раскидывал по отделениям фабрики. Спроси меня, кто мне передал прокламации,—я бы затруднился ответить, если бы и желал. Были случаи: идешь, встречается совсем незнакомый парень, спрашивает:—Кажется, «Сынок» с Паля?—Подтверждаю.—Велели передать тебе прокламации, чтобы разбросал.—Обыкновенно я не спрашивал, что это за человек и кто велел. Я брал от него прокламации, рано утром приходил не замеченный даже сторожем на фабрику и разбрасывал. Сначала я это делал

тайнственно, но потом настолько привык к делу, что совсем не стал остерегаться.

Однажды вышла такая история: разбрасывал я прокламации, призыв к забастовке уже не помню по какому случаю, и одна прокламация у меня осталась. Про нее я совсем забыл. Перед обедом директор фабрики обходил мастерские и зашел в контору к нашему мастеру. Они о чем-то стали толковать. Директор—поляк, человек толстый, широкоспинный. При взгляде на его спину у меня зародилась веселая мысль: «Дай-ка я ему прокламацию на спину наклею!» Задумано—сделано. О последствиях не подумал. Вынул я прокламацию, обернул ее чистой стороной и тут же на глазах у директора и мастера намазал гуммиарабиком, и когда директор с мастером пошли из конторки, я сзади тихонько прилепил директору на его спину. Он не заметил. Мастер же, повидимому, заметил, так как поглядел на меня и сморщил лоб. Немного погодя иду я за краской, а директор ходит с прокламацией на спине по фабрике, и где ни пройдет,—езде смех ему вслед, а он ничего не понимает. Так он пришел в контору. Там другие мастера и старшие тоже успели прочитать, а брат фабриканта, второй директор, начал смеяться над тем, что фабрикант сам призывает к забастовке. Поднялся хохот. И не сдобровать бы мне, но мастер был хороший человек: он позвал меня и стал предупреждать, что так поступать опасно, что меня могут не только уволить с фабрики, но посадить в тюрьму. Я стал осторожней. Но кто-то все-таки выдал меня, и директор мне летом отомстил.

В это время я познакомился с тов. Павловым, который работал в крахмальном отделе фабрики. Тов. Павлов состоял в социал-демократической партии и частенько приносил на фабрику прокламации, которые мы вместе распространяли. Он давал мне также читать книжечки-брошюры издания «Донская Речь».

VII

Наступило 19 февраля. Рабочие решили бастовать, и фабрика стала. Староста нашей мастерской тов. Гастев или «Ручкин» (как его звали рабочие из-за укороченной одной руки) с другими рабочими собрались идти в город, где предполагалась демонстрация. Я отправился с ними. По дороге узнали, что в университете собирается митинг. Мы отправились туда и по пути примкнули к другим рабочим печатникам.

Они ходили по типографиям и снимали всех с работы. Мы решили им помочь и направились по их указанию в типографию градоначальства. Туда мы не попали, а очутились во дворе градоначальника. Не успели мы как следует оглянуться во дворе, как нас окружили два околоточных с городскими и арестовали. Как мы ни уверяли, что зашли во двор по ошибке, нам не верили. Повели нас в первый Адмиралтейский участок. Помощник пристава набросился на нас, как с цепи сорвавшийся барбос:—Забастовщики! Крамольники! Я вам покажу, как бастовать. Обыскать их!—Нас перетрясли, как солому. Нашли только газету «Русь» у «Ручкина», и опять крик:—Я вам покажу, как читать газеты! Посадить их!—Нас посадили в холодную, куда сажали пьяных. «Ну,—думаю,—теперь я пропал!» Меня уговаривают, успокаивают. Все они взрослые, один я между ними мальчишка. Пытались они упросить помощника пристава, чтобы меня выпустили, как случайно попавшего вместе с ними, но он и слышать не хотел. А когда узнал из допроса наши адреса, то на меня больше, чем на других, взъелся: ты-де сопляк, а тоже бастовать!

Одним словом, участь решена: обвинения никакого, но нас направили в Коломенскую часть. Там просидели ночь. На утро нас направили в Рождественскую часть или в нашу районную тюрьму.

Ни моя мать, ни рабочие фабрики не знали, где мы находимся. Рабочие нашей фабрики начали требовать нашего освобождения, объявив в знак протеста забастовку, и нас выпустили. Всего мы просидели в части с неделю. Когда нас освободили, то поручили городовому довести меня до квартиры и вручить матери.

VIII

Волнения рабочих не прекращались. Злоба рабочих перекинулась на ближайших врагов—на злых мастеров, на доносчиков из рабочих. Появилась «тачка». Наша фабрика тоже этого не избежала. В нашей мастерской работал рабочий Орлов. В 1902 г., когда фабрика бунтовала, а полиция рабочих вылавливала, сажала на пароход и отправляла в тюрьму,—этот рабочий и мастер из печатной мастерской помогали полиции своими доносами. Рабочие нашей мастерской решили как того, так и другого вывезти на тачке, но первым наметили Орлова. Позвали меня в мастерскую и велели тихонько приготовить тачку и мешок из-под тальки. Я был рад выполнить поручение. Живо побежал в кладовую, достал пустой мешок, тачку и обмазал ее нефтью; все это я привез к мастерской. Рабочие уже ждали. Взяли мешок и пошли разыскивать доносчика Орлова. Нашли его в уборной, накинули на голову мешок и поволокли к тачке. С гиком и свистом, при дружном смехе всех рабочих, вывезли Орлова за ворота фабрики. Настал черед мастера. Но в этот день вывезти его не удалось. Решили: в другой раз.

В тот же день вечером было совещание в клубе мастеров, и нам передали, что кандидат на тачку будет сопротивляться. Все равно рабочие не изменили своего решения, но почему-то медлили.

Шел день за днем, а все не вывозили. Наконец один случай вывел рабочих окончательно из терпения. Задремала работница у качалки во время работы, а

качалка находилась почти у лестницы. Мастер, проходя по печатной, увидел дремлющую работницу и ударил ее так сильно, что она упала на лестницу и покатила вниз. Работница была беременна и вскоре выкинула. Народ взвыл:—Убить мастера!—Я уже знал настроение рабочих и побежал за тачкой. А рабочие погнались за мастером. Тот махнул в бельный отдел, рабочие—за ним. Видя, что окружен, он решил идти напролом: выхватил револьвер и кинжал. Вооружившись таким образом, он бросился на рабочих. Первым выстрелом он убил мальчика-ученика Алексева, своей же мастерской, вторым ранил в щеку рабочего красильной мастерской, и кинжалом порезал руку третьему рабочему. Дорога оказалась свободной, и он убежал в контору. Я был недалеко от происшедшего. Увидев убитого и раненых, я побежал с вестью по всей фабрике. Фабрика стала. Народ как тигр бросился в контору, но там наглухо заперлись, вызвали казаков и конных городских. Толпа напирала, и еще немного—разнесла бы контору в пух и прах и, конечно, не оставила бы в живых мастера. Но как раз подошли казаки и полиция во главе с приставом, окружили контору и оттеснили рабочих. Для вида мастера посадили в карету и направили в тюрьму, но толпа озверела и не верила полиции. Она бросилась на конвой и разогнала его камнями. Если бы не кучер, который успел ударить по лошадям, конвой не сохранил бы мастера. Его увезли, а на месте остались убитые и двое раненых. Фабрика забастовала. Забастовал ряд других фабрик и заводов. Назначили похороны, на которые прибыли делегации с венками со всех заводов Питера. Венки были разукрашены красными лентами. Панихиду устроили в церкви и заставили попов отпевать. Молодежь пела «Вы жертвою пали», ораторы призывали народ к мщению. Полиция и казаки молчали. Боялись напасть на толпу. Она была велика и обозлена. Но как только народ разошелся, казаки

стали разгонять оставшихся и оборвали с венков красные ленты.

С этих похорон начинается новая полоса революционного движения за Невской заставой. Рабочие озлобились. Начинаются схватки рабочих с казаками и полицией. Меня еще сильнее возмутило все происшедшее. Я окончательно озлобляюсь против мастеров, фабрикантов, полиции и царя. В это же время наш рабочий Павлов начинает меня частенько приглашать в подпольные кружки. Я хожу, но что-то еще плохо разбираюсь в том, что говорят. Меня ставят в качестве часового на разных улицах для сопровождения на собрания. Одним словом, постепенно меня втягивают в партийную работу. Конечно, эта работа выражалась вначале лишь в разных мелких поручениях, но я был еще слишком мал для чего-либо другого, более серьезного.

Подоспело 1 мая. Была объявлена забастовка. Еще накануне я занялся разбрасыванием прокламаций. С утра 1 мая рабочие не приступили к работе. Я побежал по мастерским и спрашиваю, почему не выходят на улицу. Все заявляют, что вышли бы, если бы паровая стала. Я—в паровую. спрашиваю машиниста, почему не останавливает машин.—Не хочу!—был ответ.—Если тебе надо,—останавливай, сопляк!—Я обозлился. Взобрался на цилиндр и давай крутить колесо. Увидев это и боясь, чтобы я не испортил машину, он сейчас же остановил ее, и все рабочие немедленно вышли. Но мне это даром не прошло. Машинист передал администрации, что я остановил паровую, и как только стали увольнять рабочих за забастовку,—одним из первых уволили меня. Когда я пришел к директору справиться, за что меня уволили, он мне напомнил «прокламацию» и «паровую».

С 1 мая 1905 года я стал безработным, и с этого момента окончательно делаюсь революционером и подпольным работником.

IX

Увольнение с фабрики опять отразилось на материальном положении нашей семьи. Правда, брат подросток и уже полгода работал на Максвельской фабрике и кое-чем помогал семье, но все же было плохо. Мать вторично вышла замуж. Наше положение несколько улучшилось. Но отчим мирился с нашей семьей до тех пор, пока мы все зарабатывали. Как только я оказался без работы, он стал коситься, и на этой почве начались семейные скандалы. Иногда они доходили до того, что мать уходила с нами от отчима. Но меня это злило, и я старался всеми мерами поступить на работу. Знакомые начали хлопотать. Вышло место на Семянниковском заводе разогревать заклепки. Мастер взял у меня паспорт и велел выходить со следующего дня на работу. Радости было много у меня и у семьи.

Мы не учитывали, что у фабрикантов заведены черные списки, то есть по всем фабрикам рассылались все имена и фамилии уволенных за забастовку. Прихожу на другой день к заводу и жду мастера. Идет. Я подхожу. Он возвращает паспорт обратно и говорит:—Ты ведь забастовщик палевский. Не могу.—И пошел. У меня руки опустились. Я заревел. Стало обидно. «Как,—думаю,—пойду домой? Что буду говорить?» Но делать нечего. Сорвалось на одном месте,—надо попытать счастья в другом.

Идут к Максвелю. У ворот—никого. Жду. Идет милый мастер. Я к нему. Так и так, только что из деревни, голодаю, возьмите на работу. Он осмотрел меня:—С деревни, говоришь?.. А почему такой бойкий?..—Я подумал: «Ну, и тут сорвалось!»—и заревел. Он поколебался, наконец спросил паспорт.—Есть,—отвечаю, быстро достаю и отдаю ему. Он повертел и говорит:—Ну, твое счастье! Мне как раз нужен мальчик в мыльное. Ты, повидимому, бойкий, будешь

у меня в конторе.—Я очень обрадовался: дело выиграно. И сразу же он взял меня с собой в мастерскую. Увидел я там своего брата и оробел. «Ну,—думаю,—пропал! Выдаст». Я ему моргаю: не подходи, мол, а он рот разинул и прет ко мне. Я поздоровался и шепнул ему на ухо:—Молчи! Не говори, что ты мой брат!—Я боялся, что мой брат и здесь прихвастнет в том, какой я удалец-забастовщик. Мастер меня спрашивает:—Что, знакомы? Да вы похожи друг на друга! «Ну,—думаю,—догадается!» За паспорт-то я не боялся, так как моя фамилия была Артамонов, а брата—другая (так почему-то нам выслали из волости паспорта).—Да,—говорю,—похожи. Мы знакомы. Живем на одном дворе.—Так!—сказал мастер, и ничего больше. Я обрадовался, что начал работать, входить в курс дела. Проработал два дня. Перед тем мастера не было. Вижу, идет сердитый и не смотрит. Я стою, думаю, что дальше будет. Вдруг как разразится:—Ах, ты, такой, сякой, мерзавец, из де-рев-ни! Да ты же брат Якова! Ты же палевский забастовщик!—У меня так и екнуло. «Ну,—думаю,—и тут сорвалось!..»—На записку, иди в контору получать расчет и убирайся!—Делать нечего. Взял записку и пошел. Так мне не везло все время, и я оставался без работы.

Настроение на заводах было внешне спокойное: забастовок не было. Но это было только кажущееся спокойствие. К этому времени я окончательно связываюсь с подпольным кружком социал-демократов, даже втягиваю других. Общие собрания происходят в чайной на Мартыновской улице. Большевики и большевики работали вместе. Чайную содержали меньшевики—муж и жена. Я начинаю посещать эти собрания. Организуются массовки, и я оповещаю о них надежных беспартийных рабочих. В это время на массовках часто, под кличками, выступали ораторы: меньшевики: Биншток, Дядя Яков, и большевики: т. Александров и Абрам. Как и прежде, я распространяю прокламации,

И не только на Палевской фабрике, а через своих ровесников и на других фабриках: на Палевской распространяли Зина и Бутылкин, у Наумана—взрослый Казимир, у Максвеля—Нюра Козлова, у Семяникова—Захаренко и другие, клички и фамилии которых уже забыл.

Ораторов посылали ко мне на квартиру, и я их отводил на место собрания или массовки. Палевские рабочие нас не забывают, делают сборы и нам, уволенным за забастовку, помогают. Кое-как перебиваюсь. Отчим злится, упрекает за дармоедство, но я не обращаю внимания, ибо увлекся совсем другой работой.

Вот и Октябрьская забастовка. Рабочие опять заволновались. Улица кипит, как котел. Идут схватки с казаками. Те—нагайками и пашками, а рабочие—булыжником и гайками. Собрался Совет Рабочих Депутатов. Революционное движение ширится. Рабочие на фабриках и заводах коуют оружие. Организуются боевые дружины рабочих. Среди большевиков и меньшевиков разногласие: большевики настаивают на организации боевых дружин, меньшевики—против. Мы, рабочая молодежь, записались в дружину. Мне выдали кинжал, сделанный из пилки. Наши собрания происходят уже не на Мартыновской улице, а в чайной сада «Вена», я и туда хожу, забираю прокламации и разношу по товарищам, которые уносят их на фабрику.

Октябрь, как известно, дал пресловутый манифест «о свободе». Как рабочие потом пели: «...Мертвым свобода, живых под арест», и воззвание Витте¹ к «братцам» рабочим, в котором он призывал рабочих идти на работу. Но рабочие смеялись:

— Ишь, теперь стали братьями!

¹ Сергей Юльевич Витте — с 1905 года председатель совета министров (премьер-министр), руководитель внутренней политики; его инициативе приписывается манифест 17 октября, затем амнистия и пр. В 1906 г. ушел в отставку. (Прим. авт.)

Грянула ноябрьская забастовка, выдвинул лозунг о восьмичасовом рабочем дне, но ничего из этого не вышло, ибо рабочие надорвались и не могли вести дальнейшую борьбу.

Начала организовываться черная сотня, или, как она называлась, «Союз Русского Народа», во главе с доктором Дубровиным. Бывшие хулиганы за Невской заставой вошли в этот союз. Ноябрьскую забастовку пришлось прекратить, но волнение еще продолжалось. Свирипели рабочие, свирипели казаки, присланные с Дона и Кубани, главным образом за то, что из-за «бунтовщиков» их оторвали от полевых работ. Был такой случай схватки рабочих с казаками: на Семянниковском заводе происходил большой митинг. Одновременно в столовой завода заседал Совет рабочих депутатов Невского района. Полиция как-то пронюхала о заседании Совета и направила туда для ареста солдат. К ним вышел член Совета и стал их уговаривать; солдаты вернулись. Тогда были направлены казаки. Когда подъехали казаки, то тот же депутат решил попытаться уговорить и их, но казаки начали избивать его нагайками. Наступил критический момент. Узнали об этом на митинге и сейчас же бросили клич: у кого оружие, тот должен идти отбить казаков. Оружие нашлось человек у тридцати, к тому же очень плохое: два браунинга, а остальное—бульдоги и смитвесоны. Вооруженные рабочие засели в мастерской и, как только казаки приблизились к столовой, сразу же дали залп. Казаки, повидимому, не ожидавшие такого отпора, сразу бросили свою жертву и удрали.

Воспользовавшись этим, депутаты Совета скрылись на территории завода. Но казаки быстро вернулись обратно и со своей стороны начали стрелять залпами по столовой. Рабочие отвечали. Митинг стал расходиться. Казаки окружили завод, но дружинники скрылись.

Обозленные казаки набросились на мирно гуляющую публику. Чтобы отвлечь удар от публики, дружинники опять открыли стрельбу с Прогонного переулка. Человек шесть казаков было убито и несколько ранено. Дружинники не потеряли ни одного. Мирные жители потерпели сильно. Почти в то же самое время разнесся слух о предполагающемся погроме. Рабочие постановили организовать дежурства. Вся молодежь участвовала в дежурствах. Целые ночи напролет ходили вооруженные дружинники.

Столовая Семянниковского завода была превращена в штаб и лагерь дружинников. Отсюда назначались отряды и давались наряды на дежурства. Черносотенцы струсили и своего выступления не сделали. В мое дежурство был только один случай грабежа лавки. Мы быстро накрыли погромщиков и, конечно, задали им жару как следует. В это время полиция бездействовала. Казаки боялись показаться в наших улицах.

Под шумок дружинники, социал-демократы-меньшевики и с ними социал-революционеры, рабочая молодежь, вели практическую учебу в Палевском саду. В это время я познакомился с боевиками из с.-д.-большевиков Семянниковского завода, но в последних числах ноября их разгромило царское правительство. Был произведен ряд арестов. Арестовали Павла Цаба, Михаила Войкова, Павлова, с которым я был знаком по фабрике, а также ряд других товарищей.

Наступил декабрь. Вспыхнули восстания в Москве и Кронштадте. Питер молчал. Совет рабочих депутатов выпустил воззвание с призывом к восстанию. Вскоре из Питера выступил в Москву для подавления восстания Семеновский полк. Нужно было его задержать. Рассказывали, что были посланы дружинники взорвать путь, но почему-то этого не выполнили. Тогда на Александровском заводе во время митинга было предложено присутствующим отправиться разбивать путь. Народ двинулся к железной дороге, но

разобрать путь не пришлось, так как солдаты открыли стрельбу. Пришлось вернуться ни с чем.

Восстание в Москве все еще продолжалось, а Питер молчал. Но вот настал подходящий момент и для Питера. Казаки убили трех рабочих на чугунно-литейном заводе. Назначили похороны с тем, чтобы собрался народ из других районов. Дружинники готовились выступить против полиции и этим выступлением начать восстание.

Было морозное утро, все же народ собирался, но напрасно: полиция ночью украла мертвецов и похоронила их. Одновременно были расставлены засады. Похороны не удались, и нельзя было начать восстание. Я с делегатами Палевской и Максвельской фабрик зашел погреться в чайную «Вена». Там собралось уже много народа. Не успели мы заказать себе чаю, как чайную окружили полиция и казаки. Народ переполошился. У моих товарищей были револьверы, но они их быстро попрятали за картины, у меня же был партийный билет социал-демократов, я его разорвал и бросил в чайник с кипятком. В чайной собралось случайно много вооруженных дружинников, но так как ареста никто не ожидал и друг дружку не знали, то все растерялись и начали прятать оружие кто куда мог. Один эсер положил бомбу в лузу бильярда. Зашла полиция. Солдаты остановились у дверей. Начался обыск. Было много работниц. У кого ничего не находили, того выпускали. Очередь дошла до меня. Полицейский обыскал меня и, ничего не найдя, велел выходить на улицу. Я обрадовался, пошел к двери, и солдат меня пропустил. Но только я вышел, навстречу—помощник пристава и околоточный надзиратель. Последний хорошо меня знал как рабочего фабрики.—Этого надо задержать,—сказал он помощнику, и меня вернули. Человек двадцать засадили в бильiardную; меня, голубчика, туда же направили. А обыск наверху продолжался. Там была конспиративная квартира, по, повидимому,

ничего не нашли. Когда солдаты сверху спускались, то долго смеялись над растерявшимся длинноволосым человеком, который бегал с уставами Союза Русского Народа вместо прокламаций по квартире, не зная, куда их спрятать. Пристав его успокаивал, чтобы он не волновался, что ничего-де не будет, и с этим ушли... Так т. «Александр» надул полицию, и когда полицейские смеялись, я подумал: «Эх, кабы вы знали, кто это был, то не смеялись бы!» Нас вывели из чайной, окружили усиленным конвоем из солдат и казаков. Сняли краткий допрос и сейчас же под конвоем посадили в вагон «паровичка» и направили в Спасскую часть. «Ну,—думаю,—крепко теперь сел!» Я предполагал, что нас будут обвинять в принадлежности в боевой организации, ибо нашли восемнадцать револьверов и бомбу. Посадили нас всех в одну камеру (в этом корпусе было всего две камеры для политических).

Здесь я познакомился с рабочим токарем Обуховского завода Андреем Тетеркиным и интеллигентом «Николаем Первым». Сидеть было весело, камеры были открыты, и мы играли в коридоре в чехарду и другие тюремные игры.

Гулять нас не пускали, но режим был сносен. Товарищи «Андрей» и «Николай» принимали во мне горячее участие. Сидим месяц, другой, на допрос не ведут, в тюрьму не переводят, наконец вызывают в контору и объявляют, что мы в административном порядке приговорены к трем месяцам тюрьмы за хранение оружия и к ссылке на три года из пределов столичных, портовых и университетских городов. Предлагают каждому выбрать место жительства. Андрей посоветовал мне избрать г. Орел. Андрея отправили в пересыльную тюрьму, а «Николая Первого»—в дом предварительного заключения.

Уходя, они написали письма к тем, в чей адрес мне следовало обратиться в Орле, а Андрей предлагал на станции Балва, под Брянском, зайти к его родителям.

Жалко мне было расставаться с новыми друзьями. Напала на меня тоска. Некоторых товарищей по моему делу вызвали и перевезли в «пересылку» на этап. Я остался почти один. Начал приготавливаться. Письма, которые мне дали Николай и Андрей, я зашил в воротник пальто и в гашник штанов и стал ждать. Дошла очередь и до меня. Вызвали с вещами в контору, там уже порядочная партия. Полицейские взяли все бумаги, и мы тронулись к «пересылке». Пришли к тюрьме. Нас остановили. Я стал разглядывать тюрьму. «Ну,—думаю,—были цветочки, а ягодки еще впереди». Угрюмый вид тюрьмы не обещал мне ничего хорошего. Партию приняли, надзиратели обыскали и рассортировали. Меня назначили к политическим в четвертое отделение, шестнадцатую камеру. Тут уже порядки иные, но песни в тюрьме так же были слышны, как и в части. Здесь, повидимому, режим был нетвердый. Открылась камера и... о, радость, Андрей еще здесь. Бросаемся друг другу на шею. Я очень рад, что встретил знакомого человека. Он меня знакомит и рекомендует «Сынком». Живо осваиваюсь и узнаю, что многие товарищи по одному и тому же делу еще не высланы и сидят в других камерах. Это мне тоже на руку. Пересылка в начале 1906 года была еще тюрьмой свободной. На воле бурлила еще революция, и, конечно, в тюрьме начальство либеральничало, кроме того, товарищи, сидевшие в тюрьме, были еще революционно настроены и не только не уступали завоеванных в тюрьме прав, но еще старались завоевать больше свободы.

Однажды был такой случай. Не помню, какой это был день, но нам не дали свидания. Начальник объявил, что жандармы не явились, так как у них полковой праздник. Политика заволновалась. «Обструкция» — пронеслось по всем камерам — и начали: один стекло бьет, другой скамейкой стучит по полу, кто-то звонит кружкой о кружку и т. д. Поднялся невообразимый,

ужасный шум. Казалось, что тюрьма развалится. Администрация начала принимать меры. Живо провели рукава, пустили воду и давай нас успокаивать водой из кишки. Мы промокли, как курицы. Этим бы дело и кончились. Но тут появился митрополит Антоний, который жил напротив тюрьмы, в Александро-Невской лавре. Ему не понравилась обструкция. Говорили, что, когда заключенные начали обструкцию, он гулял в саду и подумал, что это устроено против него. Он снесся с кем следует, и вышло распоряжение лишить нас на месяц свиданий и передач. Ясно, что «политика» не стерпела. На репрессии тюремщиков мы ответили голодовкой. Все съестное мы выкинули из камеры, и началась голодовка. Первый день было еще ничего, второй день чорт знает как жрать захотелось. Стиснул зубы и молчу, вида не подаю. Андрей спрашивает меня, хочу ли я есть, отвечаю: «нет», а у самого слюнки текут. Опытные предложили лечь на койки и не двигаться. Мы все лежали, как мертвецы, и так несколько дней.

Не помню, сколько дней продолжалась голодовка, но мы выиграли. Когда она кончилась, тюремное начальство начало нас поить молоком. Подобные протесты были общим явлением по тюрьмам. В пересыльной я просидел две недели; всех товарищей моих отравили, уехал и Андрей. Снова остался я один. Наконец и меня вызвали на этап. Едем в Москву, а из Москвы в Орел. В Москву прибыли без всяких приключений. С вокзала нас пешком вели по городу до «Бутырок». Я очень интересовался московским восстанием и расспрашивал, где были баррикады. Прошли мимо какого-то бульвара, около которого были свалены разбитые трамвайные вагоны. «Здесь были баррикады», — указали «кувыркалы» (на языке арестантов «кувыркала» — человек, часто пересылаемый). Вот и Бутырки. Я вспомнил из прочитанных раньше книг, что в этой тюрьме сидел Пугачев, и должна быть Пугачевская башня. В Бутырках так долго нас принимали,

что мне надоело, и я заснул на своих вещах. Уже ночью меня повели в камеру. Камера скверная, по сторонам и посредине деревянные нары, пол асфальтовый, избитый. Ночевать пришлось на полу, ибо народу было очень много. Камеры не запирались, и заключенные ходили из камеры в камеру.

В Бутырках много было крестьян, пересылаемых в Сибирь за аграрные беспорядки. С тюрьмой мне не пришлось как следует познакомиться, во-первых, потому, что она очень большая, а во-вторых, через день меня уже вызывали на этап. «Ну,—думаю,—скорей! Хотя и в чужом городе, но на воле». Я еще не представлял себе того, что ждет меня впереди.

Приехал в Орел. Всю нашу партию с вокзала направляли пешком в тюрьму. Когда почти всех приняли и дошла очередь до меня, помощник многозначительно окинул меня взглядом и сказал:—Из молодых, да ранний!—и велел отвести, моргнув надзирателю. Я думал, что меня посадят в общую камеру или совсем выпустят из тюрьмы. Но меня посадили в карцер. Карцер, правда, светлый, если считать маленькое окно, выходящее на двор и наполовину вросшее в землю (карцер был в подвале).

Заперли меня и велели ждать. Прошло часа два, после чего снова вызвали с вещами в контору. Там ожидал городской, который и повел меня. Я спрашиваю его:—Куда?—Он ответил, что к полицмейстеру. Но зачем?

Вышли на улицу, имевшую праздничный вид: была пасхальная суббота. Городской повел меня разными переулками в центр города и наконец ввел в какой-то дом. Оказывается, квартира полицмейстера. Вышел сам полицмейстер и ахнул:—Неужели в Питере все такие забастовщики?—и куда-то побежал. Вернулся он с несколькими барыньками. Обступили они меня и как зверенка разглядывали. Полицмейстер спросил меня, чем думаю я здесь заняться и есть ли у меня в городе

кто-либо из знакомых. Обидно ли мне стало, или на самом деле я почувствовал одиночество, только вместо ответа немилосердно заревел. Барыньки, предполагавшие, повидимому, увидеть в питерском забастовщике что-то особенное, удалились разочарованными. Полицмейстер велел городскому идти со мной и разыскать на этой улице мне квартиру. Мы вышли. Ходили, ходили, но комнаты не нашли. Городскому надоело, он указал мне улицу и сказал:—Мне некогда. Иди один разыскивай, а завтра утром приходи в тот дом, где был.—Я сказал:—Ладно.—Лишь только городской ушел, я начал соображать и оглядываться. Думаю, чем в Орле ходить и искать по зашитому письму тов. Николая, лучше махну-ка на ст. Балву к родителям Андрея, авось, застану там и его тоже. Сказано—сделано. Быстро, разными улицами, чтобы скрыть след, выхожу на главную улицу, сажусь в трамвай—и на вокзал. К моему счастью, поезд уже стоял на станции. Я взял билет и сел в вагон, а сам все трушу, нет ли шпионов или городского поблизости. Мне думалось, что все видят во мне ссыльного и догадываются, что я тайно бегу из Орла.

Поезд тронулся, и я с облегчением вздохнул. Кто-то меня спросил, куда я еду, я сказал, что к родителям на праздник. Вот и Балва. Выхожу из поезда. Уже темно. Не знаю, куда идти. Стою недалеко от станции и думаю. Подходит ко мне такой же подросток, как я, и спрашивает, почему я здесь стою. Отвечаю, что мне надо на такую-то улицу, да темно, и я не знаю, как добраться. Он предложил проводить меня. Этот подросток-еврей хорошо знал местечко. Мы разговорились. Он сказал, что знает родителей Андрея, и присовокупил, что они социалисты, и что я тоже, наверное, социалист. Я промолчал, но согласился, чтобы он меня проводил. Мы подошли к дому Андрея. Как я рад был, застав там самого Андрея! У меня сразу как гора с плеч свалилась. Ну, теперь-то я не пропаду!

Семья Андрея оказалась на самом деле семьей революционеров. Меня приняли как родного. Прожил у них целую неделю. Хотели меня устроить на завод, но мы с Андреем решили вместе вернуться в Питер. Андрей уже завязал связь с местной социал-демократической организацией, но был недоволен. Большевиков не имелось. Мы с ним ходили на массовки, где он выступал с докладом о положении в Питере. Местная социал-демократическая организация выдала нам на дорогу денег и паспорта. Мы сели в поезд и отправились обратно в Питер. С этого момента я живу как настоящий подпольный работник и под чужой фамилией.

По прибытии в Петербург я не пошел к своим родителям, так как Андрей научил меня остерегаться, доказывая, что как только полиция узнает, что я уехал из Орла, сразу же пойдет меня разыскивать у матери. Я обретался на конспиративных квартирах, там же, за Невской заставой, сперва в Обуховском районе, потом осмелел и перебрался в село Смоленское. Здесь я возобновил свои связи с организацией. Познакомился я с Ольгой Антоновной Гржабовской, являвшейся организатором группы большевиков в фабричном подрайоне и инициатором откола от меньшевиков.

Меня избрали членом бюро подрайонного комитета, и я усиленно начал работать, но опять-таки по распространению прокламаций и перевозке их из города за Невскую заставу на конспиративные квартиры. Помимо этого, я стал завязывать связи с рабочими фабрик и создавать кружки. Таким образом мною были втянуты в партию по представителю с фабрик Варгунина, Максвеля, Наумана, Стеаринового завода и ряда других. В это же время я помогал устраивать летучие митинги. Одним словом, снова усиленно работаю, как подпольщик, изредка навещая мать.

Мать со слезами уговаривала меня остепениться, но я, конечно, не слушал и продолжал свою работу.

Завязываю связь с Семянниковской боевой дружиной, бываю на их собраниях и даже вместе участвую в охране массовок, но активного участия в боевой работе еще не принимаю, так как к ней меня не допускают. Лично у меня было большое к этому стремление. Все же помогаю боевикам в организации убийства двух вождей организации Союза Русского Народа на Семянниковском заводе—Сухопутного и Слесарева.

X

Наконец я окончательно становлюсь боевиком. Отхожу от агитационной работы и отдаю себя боевой организации. Боевая организация Семянниковского подрайона с.-д.-большевиков состояла человек из тридцати, все молодежь. Из них в памяти остались инструктор боевой организации, присланный п. к., т. «Лазарь»—Шкляев, Александр Зарубин и Василий Сухлеев. Последний был осужден на двадцать лет каторги, заболел чахоткой и умер в 1917 году. Другой боевик Панфилов Василий в 1907 году во время вооруженного сопротивления был убит полицией. Владимир Шалковников, Сардынский в 1907 году ушли из организации, также и Николай Поляков. Стальфот в начале 1907 года за хранение бомб арестован и через двадцать четыре часа повешен. Вспоминаются и другие боевые товарищи. Некоторые впоследствии оказались предателями.

Организация готовилась к вооруженному восстанию. Она себя муштровала под руководством инструктора. Мы ходили в лес на учебу. Сперва учились строю, потом перешли к ружейной стрельбе, при чем оружие доставали в разных местах. Было много винтовок, винчестеров и револьверов. Помимо учебы, в силу необходимости, боевой организации пришлось организовать и привести в исполнение ряд террористических актов.

В это время начал усиленно работать Союз Русского Народа. Они вламывались в квартиры рабочих и под

видом обыска избивали товарищей и обворовывали квартиры. А так как они часто работали вместе с нами на заводах и фабриках, то и нападали на нас. Доносили в полицию, ловили агитаторов, присылаемых из центра, помогая полиции их арестовывать. В особенности прославились вожди организации Союза Русского Народа, как-то: Слесарев, Сухопутный, три брата Лавровых, Леденцов, Никон, Ларечкин (Ларечкин ездил в Москву и убил Баумана) и околоточный надзиратель фабрики Паля. Были приговорены и убиты нашей организацией Слесарев, Лавров, Сухопутный, Леденцов и Ларечкин, ранен околоточный.

Моя работа опять-таки главным образом заключалась в переноске и перевозке разного оружия... Да иначе и не могло быть. На мальчика, каким я был, меньше было подозрения, поэтому все поручения по переноске оружия выполнялись мною. Однажды потребовалось из города, с конспиративной квартиры, перевезти оружие. Кого направить? Меня. Я взял с собой товарища, и мы отправились. Мы уже почти заканчивали свой путь, но чуть было не влопались. Дело было так: товарищ мой и я ехали на верхней площадке вагона. Стали подъезжать к мосту. Товарищ полез вниз, я—за ним. Когда он слез на площадку вагона, то заметил, что там стоит околоточный. Последний увидел в кармане товарища ручку маузера и, как только остановился паровик, он схватил моего товарища за руку и стал звать постового городского. Я вижу: дело плохо, но не растерялся, выхватил свой маузер, подбежал к околоточному и командовал:—Руки вверх!—Он не ожидал такого сюрприза и остолбенел. Воспользовавшись замешательством околоточного, мой товарищ освободил руку и тоже вынул маузер, затем мы быстрым шагом направились к ближайшему переулку. Как только околоточный пришел в себя, он стал стрелять и свистеть, но мы уже успели свернуть в другой переулок и скрылись.

Так мы благополучно довели оружие. Но не всегда в нашей организации было благополучно, бывали также и жертвы. В нашей боевой организации был рабочий Семянниковского завода т. Стальфот. Нередко я ночевал у него и обедал. Однажды направили его на городскую конспиративную квартиру. Нужно было перевезти за Невскую заставу бомбы. Он поехал. Видал ли его кто, или он за собой не следил и привел шпионов, неизвестно. В этот вечер я у него не был, хотя мы с ним встретились в театре уже после того, как он привез бомбы. Ночью нагрянула полиция, и его забрали. Когда на другое утро я шел к нему, то встретил жившего недалеко от Стальфота товарища, и тот предупредил меня, что у Стальфота засада, и что он арестован. Все-таки пошел: захотелось проверить. Идя мимо дома, я заметил в его комнате полицейские фуражки. Значит, правда: засада. Побежал тогда я к товарищам и передал о случившемся. Быстро собрались боевики и решили отбить (тогда уже свирепствовали полевые суды и «стольпинские галстуки»), но отбить нам не удалось. Полиция направила его совсем другим путем—по железной дороге. На другой день читаем: повешен. Жаль товарища. Вечная память славному революционеру-боевику! Но такова уж борьба. Нам некогда было задумываться над жертвами.

По всей России свирепствовали партизанские мелкие восстания, террор, экспроприации и полевые суды. Реакция брала верх, а самые лучшие революционеры гибли на виселицах и в тюрьмах. Появилось предательство. Организации начали проваливаться, арестовываться. Малодушные начали уходить из организаций. Сильные духом остались и продолжали работу вплоть до каторги и виселицы. Я уже указывал, что было совершено убийство руководителей черносотенной организации. В одном убийстве пришлось и мне участвовать. Один шпик, бывший рабочий Семянниковского завода, Никон, был для нас как бельмо на глазу. Он

хорошо знал нас всех и всегда, конечно, мог натворить больших бед. Уж и так многих посадили в тюрьму. И вот на собрании боевиков решено было его убрать. Жребий не бросали, а решили так: кому первому он попадется, тот и должен его ухлопать. Случилось, что он попался навстречу нам троем. Не долго думая, двое разошлись для отстрела и наблюдения, а третий выполнил самый акт. Полиция пыталась погнаться за товарищем, но, напуганная нашими выстрелами, отстала. Скрылись и мы.

Волей-неволей приходилось делать и экспроприации. Нужно было покупать оружие, а денег на уплату не было. Был такой случай: нужно было три тысячи рублей для выкупа оружия. Устроили сбор. Собрали с заводов совсем пустяки. Что делать дальше? Партийный устав не разрешал «экс». Мы долго думали, но никакого выхода не нашли. Решили на свой страх и риск добыть денег: сделать «экс». Собралось нас человек восемь. Поручили одному из нас выследить, где можно взять деньги. Он задачу свою выполнил: донес нам, что можно сделать налет на артельщика Шитовского завода на Охте. Назначили день и сборный пункт. Собрались, распределили между собой роли и направились. На меня возлагалась обязанность передавать сигналы, что артельщик едет. Ждали мы, ждали, ничего не дождалось. Оказалось, что артельщик проехал совсем другим путем. Для более планомерной работы нашу организацию разбили по городу, дав каждому по кварталу и поручив изучить каждую улицу и в них проходные дворы. Такая работа дана была и мне. В нашу организацию влились новые люди, появилась т. Галя-акушерка, которая была секретаршей боевого комитета. Моя работа увеличилась, и я должен был не только перевозить оружие, но также хранить его и распространять за плату среди партийцев-небоевиков. Эта работа была очень ответственная. Сам я был на нелегальном положении и имел два паспорта:

по одному я жил, по другому только прописался в другой части города, где у меня был склад патронов. Оружие находилось у знакомых партийцев-небоевиков, частью в Палевском доме и частью у меня на квартире. Для семьи на средства организации я снял домик в две комнаты, где я хранил разные прокламации и иногда оружие. Работа шла бы хорошо, но беда: денег все не было. Мы решили вновь осуществить свой старый план: еще раз попробовать сделать налет. Мы отправились. Товарищи вошли внутрь дома, где предполагалось взять деньги, я же остался во дворе на всякий случай. Что там было у них, я не знал, но я услышал крик, вслед за которым выбежали товарищи и говорят:—Неудача, удирай!—Одного из нас дворник пытался задержать, но тот выстрелил вверх и стал удирать. Потом мы разошлись по домам. Я пошел проходным двором: так было ближе. Не успел пройти всего двора, как на меня кто-то навалился и вместе со мной грохнулся в снег. Я подумал: пьяный. Встаю, а на меня—другой. Опять в снег. Приглядываюсь—околоточный, городской, а в стороне—ночной сторож. Попался, значит. Как потом выяснилось, в этом доме была свадьба, и тут же присутствовала полиция. Наш выстрел заставил полицейских насторожиться. Они увидели меня идущим проходным двором, спрятались, и как только я поровнялся с ними, напали на меня. Когда я встал, мне показалось, что они были в некотором раздумье: дескать, мальчишку поймали, но я рассеял их сомнения, начав быстрыми движениями вынимать из-за ремня свой маузер. Курок револьвера зацепился за ремень, и я замешкался. Они заметили мой маневр, сразу же снова набросились на меня и обезоружили, отобрав маузер и тридцать патронов. Затем скрутили мне руки назад и повели. Когда мы подошли к свету, околоточный узнал меня:—Э, голубчик, долго же ты ходил! Наконец-то попался!—Но потом он сам испугался того, что меня могут отбить.

Он стал снимать с постов встречных городовых, и таким образом к концу нашего шествия собрался большой конвой. Когда мы проходили по улицам, какой-то рабочий узнал меня и побежал сказать моей матери. Я, ничего не подозревая, уверенно держал себя на допросе у пристава, назвал свою подпольную фамилию и стал заливать о своих родителях. Как будто дело шло хорошо. Вдруг с ревом врывается в кабинет моя мать и бросается ко мне на шею. «Ну,—думаю,—пропал!» Я оттолкнул ее. Она догадалась, но уже было поздно: меня признали. На допросе не обошлось без кулаков, хотя пристав строго-настрого приказал не бить.

Околоточные, которые знали меня в лицо, но не знали настоящей фамилии, не преминули излить свою злобу на меня. Рев матери, конечно, не помог. Мне закрутили руки назад, связали веревками и посадили на извозчика. Рядом по обе стороны сели полицейские, впереди на лошадях—трое полицейских, сзади нас на пролетке тоже трое. Так повезли меня в охранное отделение, и не по проспекту, а через цементный завод. Приняли меня там вежливо и посадили в одиночную камеру. Я заснул, утомленный пережитым днем.

Утром вежливо разбудили, дали чаю и французскую булку. «Ну,—думаю,—здесь народ вежливый». Но оказалось, что мое заключение об охранке было сделано немножко рано. В охранном отделении я просидел одиннадцать суток, которые показались мне вечностью: кто знает систему старой охранки, тот подтвердит это и поймет...

Доказательств в принадлежности к какой-либо организации не было, не было также доказательств о моем участии в каком-либо деле. Но охранка имела много сведений о моей деятельности, поэтому со мной обращались с особенной жестокостью на допросах, стараясь вынудить у меня признание. На допросы вызывали

ночью. Допрашивал помощник начальника охранного отделения Статковский, который известен всем заключенным, побывавшим в его лапах, главным образом своей грубостью. Приведу яркую картину одного из допросов. Весь день ходишь по камере и ждешь, что вот-вот вызовут. Служитель говорит, что сегодня допросов не будет. Начинаешь успокаиваться. Приходит вечер. Ложишься спать, уже находишься в объятиях сна, как вдруг тебя грубо будят. Вскакиваешь, как сумасшедший, и в растрепанном виде, с заспанным лицом идешь на допрос. Ведут в темноте. Приводят в комнату, толкают туда и оставляют на время одного. Начинаешь разглядывать обстановку, и бросаются невольно в глаза кандалы и устроенная в потолке петля. Невольно думаешь о смерти. Вдруг открывается дверь, и появляется с ехидной улыбкой Статковский. Сначала он соболезнует о твоей участи, даже чаем напоит, а то и папироску даст. Потом начнет как будто невзначай вертеть в руках карточку какого-либо революционера, и, конечно, близкого. Понемножку начинает намекать о деле и говорит, что каждому человеку и простить можно, если он сознается, ибо это дело других людей—жидов и прочих. Но если он видит, что ты не поддаешься, начинает возвышать голос и меняет обхождение—становится официальным допрашивателем. Если же и это не помогает, свирепеет, и тогда берегись—все пустит в ход: и кулаки, и кандалы, и даже петлю бросит на шею.

Все одиннадцать суток почти каждую ночь меня водили на допрос. Из слов Статковского я понял, что отчим мой арестован, арестована и Ольга Антоновна, и что при обыске квартиры отчима найдена пироксилиновая пашка, инструкция лазутчика и прокламации, но предъявить мне обвинение не могли, так как я не сознавался, а главное—не был прописан у отчима, и арестован на улице.

Видя, что я уплываю из рук, они задумали пришить мне совсем чужое дело: убийство начальника Балтийского завода. Сделали очную ставку со свидетелем, конечно, шпионом, который и признал во мне убийцу вышеназванного начальника. Дело приняло скверный оборот, но, к моему счастью, они сами же его попортили. Поставили меня на очную ставку с женой убитого начальника, которая шла с мужем в момент его убийства, но она не признала во мне убийцу. Сорвалось и это дело. Озлоблению Статковского не было границ: он со злости чуть было не вырвал из моей головы все волосы. Тут же в охранке сидел Леонид Прохоров, член нашей дружины. Он, как оказалось, после сделался предателем. Статковский воспользовался им и устроил мне с ним очную ставку. Прохоров признал меня членом боевой организации, но я отрекся от незнанием его. Был в охранке служитель-финн, внешне очень вежливый и приятный человек. Все же мне передавали, чтобы я был с ним осторожен. Он иногда подкидывал в карманы компрометирующие записки. Но были в охранке и странно хорошие люди. Один дежурный полицейский частенько подкармливал меня хлебом, а когда увидел, как я держусь на допросах, то похвалил и даже по-своему советовал быть твердым и никого не выдавать, даже научил меня тому, как я должен в таких случаях держаться... Что он не был шпионом, а хорошим человеком, это видно из того, что он ни разу даже не заикнулся о моем деле на протяжении всех одиннадцати суток пребывания в охранке, хотя, повидимому, кое-что знал.

Вызвали меня в последний раз, допросили коротко и сказали, что повезут меня на суд в Петропавловскую крепость. У меня все похолодело. «Ну,—думаю,—капут!»

Все делалось для того, чтобы напугать. А ночью меня направили в дом предварительного заключения.

Меня посадили в карету, как барина, рядом сел охранник, впереди на извозчике—два охранника, позади также двое. Вот в сопровождении такой компании меня перевезли в тюрьму. В предварилке меня посадили в одиночную камеру. Камера была в семь шагов длиной и четыре шириною; с одной стороны—железная кровать, привинченная к стене, на ней тюфяк из мочалы, подушка из соломы, простыня и одеяло. С другой стороны, на стене—две железные полочки, железный стол и стул, привинченные к стене. Около стола паровая труба, идущая снизу вверх, а в левом углу камеры—«параша», т.е. арестантская уборная. Окно—на сажень от пола, оконная рама железная и наглухо застеклена, вместо форточки проделаны в железе дырочки, закрывающиеся и открывающиеся, и, конечно, решетка, неотъемлемая принадлежность тюрьмы, и, наконец, обитая железом дверь, наглухо закрывающаяся снаружи железным замком. Вот обстановка одиночной камеры.

Надзиратель, приведший меня в камеру, предложил лечь спать,—было время гасить огонь,—затем закрыл камеру и вышел. Не успел я как следует разглядеть свое новое помещение, как где-то в отдалении заиграл рожок, и затем началась обструкция. Все заключенные одиночных камер, а их было триста пятьдесят, как один, начали стучать в двери кто чем мог. Я сперва рассердился и забегал по камере, не зная, что делать, но потом сам увлекся шумом и стуком и начал тоже колотить в дверь. Захлопали окошечки: это надзиратели забегали для успокоения заключенных.

Как быстро началась обструкция, так же быстро она и прекратилась. Наступила тишина. Я прислушался, но ни один звук не нарушал больше тишины. Так мне и не удалось узнать, по какой причине протестовали заключенные. Я лег спать и заснул, как убитый. Утром

меня разбудил крик: «хлеб». Открылась форточка, и надзиратель сунул в окно черный хлеб. Я взял. Опять крик: «кипяток». Открылась форточка. Я подал железную кружку, и мне налили кипяток. Чаю и сахару не давали. Кипяток в железной кружке был очень горячий, и я не мог его пить. Стал ждать, пока остынет. В это время я услышал повторяющийся стук в стену своей камеры. Я тоже постучал, но результатов никаких. Оказывается, это сосед вызывал меня на разговор, но я ничего не понимал, так как еще не был знаком с тюремной азбукой. Наша безрезультатная беседа прервалась. Открылась опять форточка, и в нее просунулось лицо надзирателя. Это был не тот надзиратель, который принимал меня ночью. Он шопотом спросил, есть ли у меня сахар и чай. Я сказал, что нет. Он мне таинственно сказал, чтобы я не разговаривал с соседом, ибо там сидит посаженный ночью шпион. В скором времени этого надзирателя уволили: он оказался принадлежащим к какой-то партии.

Сказав все это и пообещав принести мне чаю и сахару, он ушел. Не прошло и нескольких минут, как он возвратился с чаем, сахаром, белым хлебом, маслом и колбасой. Все это прислала мне «политика», узнав, что у меня ничего нет.

По коридору раздался возглас:—На прогулку приготовься!—«Ага,—думаю,—значит, и мне прогулку дадут». Но меня почему-то не вызвали. Перед самым обедом в мою камеру зашел начальник тюрьмы. На вид он казался добродушным старичком. Расспросил меня, кто я, есть ли родители, умею ли писать и есть ли письменные принадлежности, умею ли читать и т. д. О деле не спросил ни слова. Я ответил, что читать и писать умею, письменных принадлежностей нет, и что я хотел бы послать письмо матери, которая не знает, что со мной. Тогда он велел надзирателю принести мне бумаги, перо, чернил, а также и книг из читальни. Попрошавшись, он вышел. Этот начальник тоже не пробыл

долго в тюрьме: его сняли. Рассказывали, что у него были две дочери, которые частенько сидели за «политику». «Обед»,—раздалось по коридору, и опять открылась форточка. Я просунул свою железную миску и железную тарелку. Мне налили «баланды» и дали каши. «Баланды» я не пробовал, сразу же вылил: так противен оказался мне этот суп, хотя я и не был избалован в пище. Кашу съел. Хлеб сырой, годен разве только для лепки.

К вечеру меня вызвали на прогулку. Надев пальто, я вышел в коридор. Из заключенных там никого не было видно, один надзиратель. Он велел мне спуститься по лестнице вниз: там-де ожидают. Внизу я увидел другого надзирателя, который повел меня на двор и направил к клеткам. Прогулочный двор представлял собою как бы глубокий колодец, а по бокам, со всех четырех сторон, тянулись тюремные корпуса этажей по пять. Окна камер выходили во двор. Посредине двора был устроен помост с беседкой. Вокруг помоста и от него тянулись лучами клетки для прогулок одиночных. На самом помосте разгуливали надзиратели, следя за заключенными, чтобы они не переговаривались между собой во время прогулки. Меня сунули в такую клетку, и я стал там «гулять», т. е. ходить взад и вперед по клетке. Не успел я погулять, как свисток старшего надзирателя оповестил, что прогулка кончена. Меня опять повели в камеру, тоже угловую, но из которой двор был виден лучше.

В этой камере я нашел уже чистенькое постельное белье и книги. Надзиратель сказал мне, что каждое утро книги можно сдавать в библиотеку и выписывать другие, для вызова надзирателя он указал мне звонок и объяснил, как им пользоваться. Оказывается, что следует нажать кнопку, и молоточек стукнет по звонку, установленному в коридоре, и будет лежать на нем, пока не придет надзиратель и не поставит его

на прежнее место. Таким способом надзиратели узнавали, кто звонил.

Вечером мои соседи с верхней и боковых камер пытались перестукиваться со мной по трубе, но я не умел отвечать. По коридору опять выкрик: «кипяток!» Я получил. Вслед за тем: «у-жи-ин». На ужин подали опять «баланду», и я ее вылил в «парашу». Зажгли свет. В тюрьме стало тихо, слышно, как муха пролетит. Лишь кое-где нет-нет да и прорвется «тук... тук... тук!...» Это заключенные переговариваются.

Надзиратели тоже тишины не нарушают: сняли сапоги и ходят в валенках. Я стал читать. Вдруг как из-под земли слышу голос:—Товарищ!—Кого-то звали сдавленным шопотом. Я прислушиваюсь, но не могу понять, откуда голос. Слышу надо мной стук. Нагнулся. Слышу прямо в лицо:—Товарищ!—Оказывается, кто-то говорит со мной из нижней камеры. Я спросил:—Что?—Опять слышу:—Проскреби дырочку около трубы.—Я стал выполнять это. Паровая труба, которая вышла снизу наверх, неплотно прилегала к полу и имела маленькую щель. Я попытался несколько расширить эту щель и тогда услышал яснее голос нижнего товарища. Он спросил, почему я не отвечаю на стуки, и посоветовал мне взглянуть на обратную сторону иконки, которая висела у меня в камере и на которой была написана тюремная азбука. Затем стали меня расспрашивать, за что я арестован. Будучи предупрежденным со стороны надзирателя о том, что к новым заключенным подсылают шпионов, я, конечно, ему солгал. Впоследствии мое предположение оказалось правильным. Разговаривавший по трубе был не кто иной, как шпион, который сидел рядом с моей первой камерой и пытался перестукиваться, но так как я не умел перестукиваться, то меня перевели в эту камеру, а его вниз, чтобы я с ним мог поговорить.

Так был развит шпионаж в тюрьме. Но, конечно, от меня он ничего не добился, а за азбуку я его

поблагодарил. На оборотной стороне иконки была подробно написана тюремная азбука, по которой я переговаривался и впоследствии, овладев ею в совершенстве.

Вот эта азбука:

	1	2	3	4	5
1	а	б	в	г	д
2	е	ж	з	и	к
3	л	м	н	о	п
4	р	с	т	у	ф
5	х	ц	ч	ш	щ
6	ы	ю	я		

Она расположена в прямоугольнике, разделенном на клетки так, что в строчке помещается пять букв, и таких строк шесть. Указанием номера строки и номера буквы в ней определялась самая буква. Если нужно сказать «Андрей», то следует стучать так: раз-раз. Это буква «а», ибо этим указывается первая строчка и первая буква этой строчки; дальше «н»—раз-два-три-раз-два-три: указана третья строчка и третья буква; «д»—раз-раз-два-три-четыре-пять, т. е. указана первая строчка и пятая буква; «р»—раз-два-три-четыре-раз. Этим указывается четвертая строка и первая буква; «е»—раз-раз-два-три-четыре-пять, т. е. указана первая буква, а последняя—«и»—раз-два-раз-два-три-четыре: указана вторая строка четвертая буква.

Имея азбуку, я уже не был таким одиноким и мог разговаривать посредством нее с товарищами, сидящими в камерах по бокам, вверху и внизу.

Помимо перестукивания существовал и другой способ разговора: можно было перемахиваться платком или просто рукой с гуляющими товарищами на дворе. Это делалось незаметно для тюремного начальства, в противном случае—карцер. И так потянулись мои дни, похожие один на другой. Нарушение тишины тоже происходило однообразно: каждый день «хлеб», «кипяток», «обед», «прогулка», опять «кипяток», «ужин». Остальное время было предоставлено нам целиком только на размышление, так как поговорить было не с кем. Читать мне надоедало, и я скучал в одиночестве, беспрерывно спал, и если бы случайно не зашел ко мне врач, то, пожалуй, заспался бы. До того я привык спать, что даже целую неделю не ходил на прогулку: лень было. Очень мало ел, все выбрасывал в «парашу». Такой образ жизни отразился на моем здоровье: я распух. Когда доктор увидел меня, то пришел в ужас и стал увещевать и уверять, что так можно умереть. Прописал больничную пищу и велел ходить гулять. Но это мне не помогло: не просидел я и трех месяцев, как заболел цынгой, десны сделались как тряпки, во рту появился дурной запах, пошла кровь, тело покрылось кровоподтеками, начало скрючивать левую ногу. Врач, очень внимательный человек, усиленно стал меня лечить. Два раза в день делали мне ванну, давали усиленную лазаретную пищу: мясо, котлеты, молоко, лимон и ежедневно натошак селедку. Я поправился. Свидания же все еще не давали. За это время арестовали товарищей по моему делу, и один из них, думая, что я их выдал, во время прогулки грозил мне кулаком из своего окна. Потом выяснилось, что всех нас, в том числе и меня, выдал провокатор, участник боевой организации, впоследствии убитый своей женой, которая также была в боевой организации.

Наступила весна. Созывалась Вторая Государственная Дума. В камерах открыли окна, и заключенные стали переговариваться. В день созыва Думы все заключенные уселись на окна, стали разговаривать и, между прочим, прислушиваться к воле.

Вечером было слышно, как по Шпалерной кто-то проехал, и заключенные решили, что это артиллерия и что, повидимому, неблагополучно на воле.

Каждый думал про себя, что вот-вот скоро освободят, но это была только мечта: на воле еще ничего не было. Разогнали Вторую Думу, и в одно прекрасное утро тюрьма узнала, что среди заключенных сидят депутаты Государственной Думы. Тюрьму объявили на военном положении, ввели солдат и запретили сидеть на окнах и разговаривать. Устроили протест—обструкцию, но ничего не помогло. Вне стен тюрьмы свирепствовала реакция, и рабочее революционное движение было подавлено. В это время один из солдат убил сидевшего на окне и разговаривавшего заключенного. Опять устроили обструкцию, но из этого ничего не вышло, так как почти все тюрьмы, в связи с роспуском Думы, были объявлены на военном положении. В доме предварительного заключения военное положение вскоре было снято; здесь сидели только подследственные.

Мое дело переходило то к военному, то к гражданскому прокурору и в конце концов было передано следователю по особо важным делам. Следствие как будто заканчивалось, и моим родителям разрешили свидания со мной. Пришла ко мне мать и передала, что в ту ночь, когда меня арестовали, был обыск, нашли пустую оболочку бомбы, пироксилиновую пашку, два ударника, патроны разные и прокламации. Избили ее, отчима и брата. Брат не выдержал издевательств и указал, где мною была спрятана инструкция лазутчика: он указал на икону. Ее всю поломали, и инструкцию нашли. Отчима арестовали, и он просидел три месяца

в «Крестах», после чего был выслан в свою Виленскую губернию на три года. Мать сказала, что ей сейчас плохо живется,—фабрика их бастует два месяца,—и она уже продала икону чудотворца Николая. Я утешал ее тем, что скоро выйду на волю. Я теперь вполне понял, почему против меня не могли сразу начать какого-либо дела. Охранка отлично знала, что оружие и прокламации принадлежали мне, а не отчиму, но доказать, повидимому, не могла, ибо я не числился жильцом на этой квартире, на той же квартире, где я жил, они ничего не нашли. Несмотря на это, они не хотели меня выпустить и старались приобщить то к одному делу, то к другому.

В предварилке немного повеселело. Депутаты Второй Думы принесли с собой много новостей. Всем им дали общую прогулку. Конечно, в связи с этим и нам давали некоторую поблажку.

Я начинаю приучаться читать. Читаю без разбора все, что попадет, больше беллетристику. Пишу дневник, даже стихи сочиняю. Перестал болеть цынгой, но последствия остались. Товарищи с воли помогают, делают сборы и пересылают через мать. Палевские рабочие, да и подпольный красный крест не забывают. Питание усилилось.

Кончился процесс депутатов Думы. Начались другие процессы: покушение на Николая II, процесс военной организации социал-демократов-большевиков и ряд других процессов.

Меня опять переводят в восемьдесят девятую камеру. Подо мной сидит Никитенко—флотский офицер, который обвивается в покушении на Николая II. Мы с ним знакомимся через пол. Человек он бодрый и солидный. Я видел его на прогулке. Он знает, что его повесят, но нисколько не волнуется. Я все время поддерживаю с ним разговор. Но вот его куда-то вызвали. Возвратившись поздно вечером, он передал мне, что его приговорили к виселице, и что, наверное, переведут в

Петропавловскую крепость. Он обещал передать мне письмо. Я стал ждать, когда он напишет, приготовил все тюремные принадлежности, чтобы принять письмо. Помимо перестукивания и махания, у нас в тюрьме была своя почта, и мы передавали друг другу записки и даже газеты. Это мы делали так: если мне нужно передать что-либо верхнему товарищу, я выстукиваю ему по трубе условные знаки. Он спускает вниз нитку, на конце которой привязан соответствующий груз. Когда нитка доходит до моего окна, я втягиваю ее через дырочку железной форточки к себе в камеру. Эта дырочка очень маленькая,—мог пролезать только палец,—поэтому мы брали тонкую палочку с крючком и этим крючком ловили нитку и тянули книзу в камеру, а за ней—посылку. Для того, чтобы посылка могла пролезть через дырочку, ее сворачивали тоненькой трубочкой. Вот такие принадлежности, т.-е. нитку для спуска, я и приготовил, чтобы принять письмо от тов. Никитенко. Но не суждено было ему передать письмо: вскоре дверь его открылась, и его увели. Он успел только, вскочив на стол, сказать мне вверх:—Прощай!—и попросить, чтобы я передал всем его последний привет.

Его повесили в ту же ночь, но не в Петропавловской крепости, как он предполагал, а на «Лисьем носу». Реакция свирепствовала. Каждый день прибывали новые заключенные, и порядочное количество одиночек уже не были одиночками: в них сидели из закончивших следственную сидку человека по два, по три. Появились в тюрьме Гоц, Яковлев и Павлов, эсеры, покушавшиеся на Римана. Появился военный писарь Русаков, обвинявшийся в покушении на военного министра Ридигера, и еще много других товарищей из разных организаций.

В это время тюрьму всколыхнуло известие о побеге анархиста Алейникова из дома предварительного заключения. Рассказы о его побеге были очень интересны.

Алейникова вызывали в суд. Сидя в суде в комнате подсудимых, он попросился в уборную. Его повели двое конвойных. Алейников вошел в уборную, а конвойные остались ждать около уборной. Ждут, ждут, а арестант все не выходит. Стали стучать. Ответа нет. Конвойные выломали дверь, ворвались в уборную, но там никого не было; только сломанная стенка в соседнюю уборную говорила о побеге. Стенка была пробита заранее, а во второй уборной была приготовлена другая одежда и грим.

Анархист Алейников вошел в уборную, заперся и сейчас же перешел в другую уборную. Там он переоделся, загримировался, надел очки и вышел. Конвой его принял за судебного следователя, уступил ему дорогу, и он скрылся. Вся тюрьма хохотала.

Вскоре после этого мне пришлось идти на допрос. Конвой ни на шаг от меня не отставал, и даже к следователю одного не пустили, как бывало раньше.

После разгона Второй Государственной Думы и ареста левых депутатов мы все в тюрьме ждали какого-нибудь события на воле. Но надежды наши оказались напрасными: массового выступления не было. Рабочие уже не могли поднять знамя протеста. Учтя это, реакция все усиливалась. В тюрьмах происходит крутой поворот в режиме, начинают «завинчивать тюрьму», как говорили заключенные, т.-е. начинают постепенно отбирать некоторые привилегии у политических заключенных. Заключенные без борьбы не сдают своих привилегий. На этой почве возникают по тюрьмам протесты.

Когда был объявлен протест сидящими в «Крестах» (так называлась тюрьма на Выборгской стороне в Петербурге), туда были направлены солдаты. Начались массовые избиения заключенных.

В то время начальником «Крестов» был некий Иванов, прославившийся своей жестокостью в отношении заключенных; на избиение заключенных революционеров на воле ответили убийством Иванова.

Это сделал молодой революционер, который был после арестован и сидел над моей камерой. Мне с ним пришлось поговорить всего два раза стуком по трубе. Куда он потом исчез, неизвестно; наверное, повесили.

Если нам запрещали перестукиваться, сидеть на окнах и переговариваться, то общие прогулки не были запрещены тем заключенным, по делам которых следствие было уже закончено, а самые дела переданы в суд. По нашему делу привлекалось пять человек: я, Яковлев, Калашников, Панцерный и Гржибовская. Все мы сидели в предварилке. Наше дело, повидимому, уже заканчивалось, и нам разрешили общую прогулку. Мне привелось гулять в обществе революционеров различных направлений. Некоторые из них во время Октябрьской революции очутились по ту сторону баррикады, т.-е. на стороне белых, как, например, Гоц. Некоторые остались нейтральными. Большинство же активно участвовало в Октябрьской революции, и из них многие погибли на фронтах гражданской войны, борясь против белогвардейцев.

На общую прогулку нам давался час, а иногда и больше. Во время прогулки играли в разные игры: жмурки, чехарду и голыши, но, конечно, больше спорили. К этим спорам я прислушивался, начинал помаленьку шевелить мозгами и кое в чем разбираться. Принялся за чтение политической литературы. Должен сказать, что этой литературы в библиотеке было очень много: Макс Штирнер, Кропоткин, Прудон, Ницше, Михайловский и другие. Из марксистской—Бebel, Каутский, Карл Маркс. Из социалистов-утопистов—Фурье и другие. Масса книг по истории французской, германской и других революций. Все это я поглощал так усиленно, что, буквально, книг не хватало. Тогда я стал читать Дарвина, Фламариона, много по геологии, ботанике и зоологии. Затем я стал зачитываться древней, средней и новой историей. За два года одиночного заключения я прочитал всех русских,

французских и английских классиков. Последних, понятно, в переводе. Читал много книг по разным философско-религиозным учениям. Всестороннее чтение способствовало моему развитию. Одновременно я стал в письменной форме излагать свои мнения о той или другой прочитанной книге, писал дневник и даже стихотворения. Эти первые письменные работы мне не пришлось взять с собой на волю; они остались в Шлиссельбургской крепости и там пропали. В то время у меня определенно выработалось революционное воззрение. Я ненавидел как монархию, так и буржуазно-капиталистический строй, но, имея бессистемную литературную подготовку, как я уже описал выше, я не мог твердо, сознательно примкнуть к какой-либо партии. Мне казались все хороши: максималисты, анархисты-коммунисты и с.-д.-большевики. Последние потому, что я среди них работал на воле.

1908 год, т.-е. второй год моего сидения в доме предварительного заключения, ничем особенным не отличался. В этом году я начал, помимо чтения, заниматься грамматикой и арифметикой. Это мне давалось с большим трудом, так как приходилось самостоятельно разбираться во всех правилах. Когда же я окончательно не мог разрешить какого-либо вопроса, я стучал соседу и при помощи тюремной азбуки спрашивал его об интересующих меня вопросах. Но и такому обучению грамоте пришел конец. В этом же году я заболел холерой. За время болезни следствие по нашему делу подошло к концу, и скоро должен был состояться суд.

Вот наконец вызвали меня в суд. Дали мне защитника Вебера. Передавали, что он социал-демократ, но я с ним не был откровенен. Это он почувствовал и на суде почти ничего не мог говорить в мою защиту.

Прокурор произнес громадную речь, в которой обращался к заседателям и предлагал им не стесняться тем, что на скамье подсудимых подросток. Это-де

«осколок бомбы, который в каждую минуту может принести вред существующему порядку, а потому,—говорил он,—опасно его возвратить обществу». Одним словом, стало ясно, что нас осудят, но мы интересовались, к чему и насколько нас приговорят. Про себя я думал, что меня, как малолетнего, осудят года на полтора тюремного заключения. Все же волновался, когда заседатели ушли совещаться.

Но вот—«Встать! Суд идет». Все четверо признаны виновными и приговорены к лишению всех прав, преимуществ и состояния и ссылке в каторжные работы сроком на восемь лет. Что касается «лишения всех прав и преимуществ», то я этого на суде не понял, да это меня мало и трогало. Я не ожидал восьми лет каторги и, услышав такой приговор, был подавлен. Гржабовскую оправдали, но за полтора года одиночного заключения ее здоровье было подорвано, она получила чахотку и умерла в 1911 году.

На суде были моя мать, брат и сестра, также и некоторые из знакомых; когда был произнесен приговор, началась истерика. Нас отправили под конвоем обратно. От всякой кассации и апелляции я отказался. Придя после суда вечером в свою камеру, я, не раздеваясь, лег и проспал всю ночь. Думать я ни о чем не мог. Каторгу я представлял себе каким-то необычайным ужасом, чем-то невероятным, а главным образом боялся почему-то Сибири, о которой я мало знал и о которой так много страшных слухов ходило среди рабочих и крестьян. На другой день режим сразу переменялся: переодели меня в арестантскую одежду и повели заковывать в кандалы. И каждый удар надзирателя по кандалной заклепке больно отзывался, вызывая мысль о том, что во мне совсем убивается жизнь. Я отвернулся от надзирателя, чтобы его не видеть: так ненавистен был он мне в тот момент.

После суда я некоторое время пробыл в доме предварительного заключения. Но через несколько дней

надзиратель открыл дверь моей камеры и предложил собраться со всеми вещами. Пришел в контору. Там меня уже ожидал конвой. Посадили нас в автомобиль и повезли в пересыльную тюрьму. А дальше—Сибирь... каторга...

ХП

В пересыльной нам велели снять свою одежду и одеть каторжную. Эта одежда особенная: арестантский бушлат, штаны, имеющие по обоим бокам пуговицы (каждая штанина застегивается вдоль ноги) и приспособленные к тому, чтобы можно было их снимать, не расковывая кандалы; арестантская шапка, коты (обувь), пара портянок и для кандалов—подкандалники. Подкандалники имеют вид кожаных голенищ, разрезанных вдоль и застегивающихся пряжками. Прикрепленные к подкандалникам ремешки дают возможность подтягивать кольца кандалов, чтобы они не опускались на ноги. Этим обычно каторжане предохраняют ноги от трения о железо.

Когда вещи были нам выданы, нас всех остригли наголо. После стрижки старший надзиратель повел меня для перековки или перемены кандалов. При осмотре было признано, что в доме предварительного заключения меня заковали в свободные кандалы; в кузнице переменяли их на более тесные. После этого меня направили в камеру каторжан. Эта камера была рассчитана на двадцать три человека. Я прибыл как раз двадцать третьим.

Камера имела следующий вид: по обеим сторонам тянулись кровати, посредине—столы со скамейками, два окна с решетками, выходящие во двор, с правой стороны—уборная, загороженная железом, вышиною до груди взрослого мужчины, у стены—полки-ящики, для каждого каторжника отдельная, решетчатая железная дверь, выходящая в коридор. Посредине потолка привешена керосиновая лампа, вставленная в футляр из

железной решетки, запирающейся на замок; это, по видимому, предосторожность от пожара. Висящие кровати, сделанные в виде рам и обтянутые парусиной, прикреплены к стене; днем они поднимаются и прикрепляются к крючкам веревкой. Когда же они опускаются, то под свободный конец, который доходит почти до середины камеры, ставится скамейка. Постель состоит из простыни, соломенной подушки и одеяла. Вот и вся обстановка камеры.

День в камере начинается с шести часов утра свистком отделенного на поверку. После поверки пили кипяток и до обеда ходили на пятнадцатиминутную прогулку. Потом обед, после которого на два часа опускались койки для отдыха. Затем опять кипяток. Часов в пять ужин, за ним—поверка, а в шесть часов вечера опускались койки.

Когда меня ввели в камеру, я увидел, что все каторжане закованы в кандалы, и шум, который они производили, сильно подействовал на мои нервы. Я не мог выдержать: через два дня заболел и был отправлен в лазарет. Там я успокоился, после чего меня вновь перевели в камеру. В этой камере я встретил двух-трех знакомых политических, остальные были уголовные.

Первое время режим в пересыльной тюрьме был сносный, но постепенно начальник тюрьмы Аракчеев начал «подвинчивать». Если раньше на поверке нами не командовали, а считали всех там, где кто сидел, и приветствовали «здравствуйте», то потом заставляли нас строиться по-двое в затылок, по-солдатски, держать руки «по швам» и на приветствие «здорово» требовали ответа: «здравия желаем, в-ство». Если раньше на прогулку шли кто как попало и гуляли свободно, то теперь заставляли нас строиться в коридоре, а на прогулке ходить парами в затылок. Если шло какое-нибудь начальство, вплоть до старшего надзирателя,—стали командовать: «шашки долой!» Раньше в баню

ходили вразброд и мылись иногда больше часу, теперь стали нас водить строем и позволяли мыться не больше пятнадцати минут, так что новенький каторжанин, не успев раздеться, должен был одеваться. Если каторжанин не исполнял этих приказаний,—применялось наказание.

В камере режим также ухудшился: к окну подходить нельзя, громко не разговаривать, ходить по камере и шуметь кандалами тоже не полагалось. Если поверка прошла, и койки опущены, лежа, даже шопотом, нельзя разговаривать, а не хочешь спать,—закмурь глаза и лежи молча.

Конечно, против такого режима каторжане восставали, пытались протестовать. Но администрация приняла репрессивные меры и сажала в карцер.

Такой режим стали применять во всех тюрьмах. Революционное движение было подавлено, и царское правительство старалось окончательно задушить в тюрьмах тех, которые на воле не давали ему спокойно существовать.

В пересыльной тюрьме, помимо начальника Аракчеева, был еще прямой проводник его строгого режима—старший надзиратель Павлов. Этот старик старался придирается к каждой мелочи, чтобы унизить или наказать политического заключенного. Карцеры и наказания «на карцерном положении» все время преследовали пленников царского правительства. За два года, которые я просидел в пересыльной, было много протестов со стороны заключенных, но они не имели почти никакого успеха. Слишком настойчивый элемент отбирали и отправляли в каторжные централы Пскова, Вологды и Орла, в которых администрация прославилась своей страшной жестокостью. Побывал я и в карцере, и за самую пустяжную вещь. Надоело нам все время сидеть в камере и захотелось в одно воскресенье сходить в церковь, чтобы повидать товарищей. В церкви тоже строгий режим. Всех заключенных выстраивали

в ряды и заставляли держать руки по швам. Но мои руки почему-то не захотели держаться по швам и очутились за спиной; я почувствовал, что кто-то меня ударил по рукам, потом другой раз. Я не обратил внимания. Служба кончилась. Стали выводить каторжан, и, конечно, повели мимо попа, который держал крест и давал его всем целовать. Он и мне хотел также дать поцеловать крест, но я прошел мимо. Только вышли мы из церкви, Павлов вызывает меня из строя. Я думал: на свидание кто-либо пришел, и, ничего не подозревая, подхожу к нему. Когда заключенные разошлись по своим камерам, Павлов начинает читать мне нотацию:—Сопляк, мол, а тоже-де бога не признает.—И пошел, и пошел... Тут я не выдержал и брякнул:—Ты-де уж до старости дожил, а все темным дураком остался!—Он не стерпел и ударил меня по лицу, а я его толкнул. На шум прибежал дежурный помощник начальника. Павлов напел ему разной ерунды, и меня посадили в карцер.

Карцер находился в самом нижнем этаже-подвале и был темный. Меня втолкнули в этот карцер, сняв предварительно верхнюю одежду. Дверь за мной заперлась, и я остался в темноте. Ничего не могу различить. Чувствую под ногами сырость. Стал искать ощупью, па что бы можно было сесть, но ничего не нашел, кроме параша. Так и пришлось сидеть и спать на параше все семь суток. В течение этого времени выдавали только хлеб и воду. Больше ничего. Когда меня через трое суток вывели на прогулку, меня так резнуло по отвыкшим от света глазам и голова у меня так закружилась, что я не выдержал и упал. Такого было влияние карцеров.

Помимо морального издевательства и унижения личности, наносили ущерб и физическому здоровью. Давали работу, которая не только не способствовала физическому развитию, а, наоборот, разрушала здоровье; например, давали трепать и щипать пеньку в карцерах.

От пеньки оставалась масса пыли, и заключенные заболели чахоткой. Один здоровяк-мордвин не выдержал таких условий, заболел и умер.

Несмотря на все это, революционеры не забывали своего дела и готовились. Учились, добывая всеми правдами и неправдами книги и учебники. В нашей камере были также и интеллигенты, которые преподавали нам русский язык, арифметику и знакомили с политическими учениями. Споры эсдеков с эсерами и анархистов развивали мысль и наталкивали на усиленные занятия по политграмоте. Спорил и я и этим себя развивал; в спорах частенько меня разбивали, а это заставляло усиленно заниматься чтением соответствующей революционной литературы. В этот период я примыкал к самым крайним взглядам, ратуя за террор за полный социализм, и не признавал никаких «демократических республик». Меня окрестили анархистствующим.

С воли получаю письма от Ольги Антоновны. Они не утешительны, что-то мрачное проглядывает в них. Распространились слухи о громадных провалах и провокациях почти среди всех революционных партий. А азевцовщина как громом ударила по тюрьме. Эсеры впали в отчаяние. Все это не могло не отозваться на политике, а тут еще интеллигенция на воле начала увлекаться порнографией и декадентщиной. Все это, конечно, влияло на слабых в тюрьме. Прошел слух, что будут отправлять на постройку Амурской дороги. Нам тоже хотелось попасть на постройку. Казалось, что все-таки, худо или хорошо, работать будем на воздухе, а это и манило.

Впоследствии же, когда до нас дошли вести о побоях и издевательствах конвойных на постройке, каждый из нас был рад, что не попал. Распространились слухи об отправке партии в Шлиссельбургскую крепость. Мы передали родным, что ожидаем отправки, а куда—не знаем.

Открывается дверь. Входит старший надзиратель. В руках у него список. Он говорит:—Слушайте, кого выкрикну, тот собирайся и выходи в коридор.—В эту партию попал и я. Не знаю, как чувствовали себя в это время другие, на меня же это действовало очень приятно. Мне надоело сидеть на одном месте. Хотелось новых впечатлений. Шлиссельбургская крепость, несмотря на свою могильную роль, сыгранную ею по отношению к народовольцам и другим революционерам, привлекала к себе. Втайне думалось: «Вот и я побуду в знаменитой крепости!»

Сборы продолжались недолго. Обыск, прием конвоем—и мы на дворе позваниваем кандалами, предвкушая порядочную прогулку по городу. А прогулка была действительно порядочная. От пересыльной тюрьмы мы шли городом по направлению до Ириновского вокзала. Шли вечером, при электрическом свете.

Кругом нас порядочный конвой. Гуляющая публика встречала нас сочувственно, а одна старушка все хотела что-то передать мне, но ей не позволили. Конвой был довольно приличный. Мы попросили, чтобы он нас не торопил и дал нам возможность оттянуть свою прогулку возможно дольше. До Шлиссельбургской тюрьмы ехали всю ночь и прибыли утром. Этап вывели на берег и направили к крепости. Пришлось идти по льду. Вот и крепость. Чем ближе, тем жуть больше охватывает сознание. Крепость обнесена старинной толстой стеной, на каждом углу—башня. Один из знатоков указал нам башню, в которой с малых лет сидел царевич. Это был Иоанн Антонович, и башня называлась его именем. Не знаю, насколько верно, но надзиратели рассказывали, что и по сей день в башне нетронутая мебель и книги Иоанна Антоновича. Нашу партию направили в новый корпус и разместили по камерам. Камеры такие же, какие в пересыльной тюрьме,

режим тот же. До нас пытались протестовать кронштадтские матросы, но их заморили в карцерах и порками; здесь еще больше применяли порку, чем в пересыльной. Отношение медицинского персонала к заключенным было очень скверное. Старший фельдшер был необыкновенно грубым человеком и каждый раз старался напомнить заключенному, что его-де не лечить надо, а заморозить, что он и делал, конечно.

Каторжане были страшно обозлены на него. Приведу один характерный случай. Один из заключенных был болен чахоткой. Он ходил в лазарет, но фельдшер все время над ним издевался, он говорил ему, что тот здоров, как бык, что никакого лечения ему не нужно. В это время администрация тюрьмы назначила его работать в ткацкой мастерской, воздух и пыль которой способствовали бы скорейшему развитию чахотки. Парень не стерпел, решил покончить с фельдшером. В одно из своих посещений в ответ на очередную насмешку фельдшера он бросился на него с ножом в руках и ударил его в грудь. Но так как вместо ножа было только одно лезвие, да и то тупое, а заключенный был физически очень ослаблен, то ему не удалось нанести серьезного удара, была только поцарапана кожа. С нападавшим расправились жестоко: сразу же на него набросились надзиратели да так избili, что парень умер.

Чтобы скрыть это преступление, они повесили тело в одиночной камере, как будто заключенный покончил жизнь самоубийством. Тюрьма скоро узнала об очередном зверстве. Начала шуметь. Для отвода глаз назначили следствие, которое, конечно, ни к чему не привело. Этим дело и кончилось.

В истории Шлиссельбургской тюрьмы не было случаев побега, за исключением двух попыток. Да и бежать из нее невозможно. Крепость стоит на острове и обнесена высокой и толстой крепостной стеной. Помимо такой крепкой охраны, она еще охранялась очень

усиленно надзирателями. Часовые же стояли как внутри крепости, так и на стенах; были поставлены часовые также и за стеной. Летом еще больше препятствовала побегу вода кругом крепости. Несмотря на это, при мне все же были два случая попыток побега из крепости, и, конечно, неудачные. Одно покушение на побег было организовано летом целой камерой заключенных, в которой сидело человек четырнадцать, имеющих большие сроки каторги. Они сидели в нижнем этаже и вели подкоп через свою камеру. Как это делали они, осталось в секрете. Работа их уже подвигалась к концу, подкоп был проделан от корпуса до ограды стены и еще под стеной около двух третей ее ширины, но среди них оказался провокатор, который, желая выслужиться, выдал товарищей. Всех их перепороли, а его перевели в «лягавую» камеру (так называлась камера, где сидели провокаторы) и вечную каторгу заменили ему двадцатью годами.

Другой случай побега был зимой, и более удачный. Один каторжанин, имевший двадцатилетний срок, во время работы во дворе остался за дверью того здания, где работали, и как только все арестанты с надзирателями ушли с работы в корпус, он быстро пробрался в старое крепостное здание, около стены, которое ломалось как негодное, и, никем не замеченный, взобрался на крепостную стену, спустился вниз и по льду направился на другой берег в лес. Ни один человек, как снаружи, так и внутри, его не заметил. Добравшись до леса, он сбил с одной ноги кандалный обруч, а с другой не смог, вышел на проселочную дорогу и стал поджидать кого-либо, чтобы попросить помощи. Встречный крестьянин с помощью топора помог ему окончательно освободиться от кандалов и пригласил его к себе в деревню. Он уверял, что даст ему вольную одежду и поможет таким образом бежать. Каторжанин поверил и поехал с ним в деревню. Крестьянин передел его, поставил самовар и задумал угостить

его водкой, а для этого вышел из избы. Каторжанин, ничего не подозревая, ждал его, а тот вместо водки привел с собой полицию, и его забрали.

На следующий же день он был опять в крепости. После порки ему опять заковали руки и ноги и посадили в одиночку.

Вот как тяжело было сидеть в Шлиссельбургской крепости и как трудно было из нее бежать.

XIV

В Шлиссельбургской крепости я просидел год. В начале 1912 г. собрали всех каторжан, которым осталось сидеть год—два, и направили их в Сибирь. Как ни тяжело было сидеть в тюрьмах, но Сибирь представлялась каким-то кошмаром. Каждому казалось, что теперь его похоронят окончательно.

Маршрут нашему этапу был дан далекий. От Петрограда до Иркутска три тысячи верст с лишком. Ехали в арестантских вагонах. До Иркутска добрались недели через три. Останавливались только в Вятке и Красноярске. Конвойные менялись три раза. Из конвойных команд была самой скверной вятская, конвоировавшая нас от Вятки до Красноярска. Всю дорогу конвойные издевались над заключенными.

Курить не давали, громко разговаривать не позволяли, притесняли сильно. За наш протест против такого отношения к нам они нас приковали к полкам.

Рядом со мной ехал пожилой каторжанин, весельчак, знающий массу анекдотов и сказок. Он решил увлечь сказками конвойных и добиться разрешения курить. Мы с ним сговорились. Он начал потихоньку рассказывать мне сказку. Но сказка была настолько увлекательная, что конвойный, дежуривший недалеко от нас, заинтересовался, стал прислушиваться и увлекся. Старик на самом интересном месте оборвал рассказ, жалуясь, что без курева язык плохо ворочается.

Сколько я его ни просил, он не согласился продолжать. Тогда стал его просить и конвойный, дал ему затянуться своей сигаркой, от которой мне тоже кое-что перепало. Конвойный так заинтересовался сказками, что не преминул в своей компании рекомендовать старика как хорошего сказочника, и, конечно, это дало положительные результаты. Около нас группами стали собираться конвойные и каторжане. По просьбе старика, нам разрешили курить, а на последний день расковали. Мы зажили с конвоем дружно. Так правдой и неправдой приходилось добиваться самых элементарных человеческих отношений к себе. В Иркутск приехали ночью на Рождестве. Река Ангара еще не стала, переправы через нее не было, и мы двое суток дожидались в вагонах.

К нашему этапу прибавился этап из Забайкалья. Таким образом, наша партия состояла из четырехсот человек с конвоем. Как только ночью стала Ангара, наш конвойный начальник решил переправить нас по льду через реку.

Мы были очень недовольны, так как вольные передавали, что переправа была еще опасна. Конвой тоже был недоволен, но послушаться не мог. Выстроили нас, закованных по рукам и ногам, и как только такая масса двинулась по льду, лед затрещал, и наши конвойные с перепугу бросились в разные стороны, а за ними и мы тоже.

Несмотря на это, начальник все-таки велел вести партию, разбив ее на части, одна от другой саженей на пять; так мы гуськом, под треск льда, шли через реку. У каждого заключенного замирало сердце: ведь стоило только провалиться,—и не спасешься: руки скованы, ухватиться нечем. Прошли благополучно, только около берега искупались двое конвойных и четыре каторжанина.

Иркутская пересыльная тюрьма приспособлена для очень большого числа каторжан. Здание деревянное,

барачного типа. Каждый барак представлял собою ка-
меру человек на двести. По обеим сторонам нары для
спанья. Все бараки были настолько переполнены, что
не только нары были заняты чрезмерно, но и спали
на полу под нарами. Постельных принадлежностей ни-
каких; грязь невероятная. Эпидемические болезни, как
тиф, оспа и другие, были постоянными обитателями
этой пересыльной тюрьмы.

Уголовные и политические сидели вместе. Админи-
страция относилась одинаково как к тем, так и к
другим. Уголовные здесь представляли собой элемент,
отличный от того, который приходилось встречать в
российских тюрьмах. Он циничнее и развращеннее.
Если раньше я только слышал о педерастии среди уго-
ловных, то здесь ею занимались открыто. Картежная
игра и пьянство развиты, а администрация делает вид,
как будто ее это не касается. В такой кошмарной
атмосфере пришлось сидеть недели две. И я был очень
рад, когда меня взяли на этап в Александровский цен-
трал. Александровская каторжная тюрьма находится
в семидесяти верстах от Иркутска. Заключенных на-
правляют туда пешком, и я заранее радовался такой
прогулке, но впоследствии разочаровался.

Этап вышел из пересыльной рано утром. Перед от-
правкой нас для видимости осмотрел фельдшер, для
видимости также дали подводы тем, кто заявил, что
болен и не может идти пешком. Я говорю, что все это
было для видимости, так как впоследствии оказалось,
что подводами пользовались конвойные, а каторжан
больных и здоровых заставили идти пешком. В этом
семидесятиверстном пешем этапе я узнал на практике,
как надо в таких случаях ходить пешком.

Нам выдали полушубки, шапки с ушами, бродни,
а кому валенки. Валенки я взял, потому что был боль-
шой мороз. Кто был опытнее, тот, конечно, валенок не
взял, и я тоже впоследствии раскаивался, что надел ва-
ленки. Сколько ни говорили опытные каторжане, этап

(а в этапе было большинство новичков) первые девять
верст сгоряча прошел быстро. А дальше началась ка-
кая-то вакханалия: все устали, начали отставать от
партии, а конвой подгоняет. Отстал и я. Чувствую,
что нет сил идти дальше. Сколько задний конвой ни
кричал, догнать партию я не мог. Получив удар при-
кладом, я свалился с ног. Меня сильно избили бы кон-
войные, как били других, но товарищи подхватили меня
и так на руках несли почти всю дорогу.

Конвой попался злой. Рассказывали, что этот конвой
каждую партию избивал прикладами, а некоторых так
били, что по приходе в централ им приходилось отпра-
вляться в больницу и в лучшем случае отделаться
чахоткой.

Семьдесят верст шли с остановкой на ночлег в по-
луэтапке (устроенный на такой случай барак). Барак
нетопленный, и мороз в бараке силен, как на улице.

На второй день я снова получил удар прикладом
в спину за то, что закурил.

В центре я просидел месяца два. Режим здесь был
не так суров, как в Питере или Шлиссельбургской
крепости, но пища отвратительная и невероятная
грязь в камерах. Полагалось в день: паек хлеба и обед
из одного первого и мяса. Второе давали только по
воскресеньям и царским дням. Ужин не полагался.

Меня, как малосрочного, кончающего срок через год,
направили в вольную команду, а отсюда на тюремную
ферму, верстах в пяти от Иркутска.

На этой ферме было до тридцати молочных коров,
свиньи, бараны, около двадцати лошадей. Сеяли рожь
и картофель для тюрьмы. Здесь же был порядочный
огород, на котором я и выучился работать на парни-
ках. На этой ферме я проработал целый год; в апреле—
радость: пришла из центра бумажка, что я должен
быть освобожден, хотя, по моему подсчету, срок дол-
жен был окончиться месяцев через восемь. Сначала
я подумал, что это ошибка, но потом оказалось, что

эта бумажка касалась меня, так как такого же другого на ферме не было. Меня свезли в иркутскую пересыльную, где давались места назначения в ссылку. На ферме за год я заработал рублей двадцать и попросил надзирателя, сопровождавшего меня в пересыльную, чтобы он сходил со мной вместе на базар в Иркутске купить одежду. Мне не хотелось выходить на волю в арестантской одежде.

За двенадцать рублей я купил себе две пары белья, брюки, пиджак на вате, сапоги и фуражку, конечно, все подержанное, но я был и этому рад: арестантская одежда мне очень надоела. Через три дня вызвали в контору и объявили, что местом ссылки мне назначена одна из волостей Нижнеудинского уезда, Иркутской губернии, и предложили, не желаю ли я сам, на свои средства, ехать в названную волость. Я обрадовался, что поеду без конвоя, и согласился.

На другой день меня опять вызвали в контору, велели расписаться, выдали бумагу, т.-е. проходной лист до волости, сроком на десять дней, и объявили:—Вы свободны.—Я сперва растерялся, но мне, смеясь, повторили:—Можете итти на все четыре стороны.—А надзирателю предложили вывести меня за ворота. Я пошел. Как только я вышел из тюрьмы, остановился, не зная, куда итти, и почувствовал себя как-то неловко. Спросил прохожего, как попасть на вокзал. Тот указал прямо.

Пошел я не так, как вольные ходят, по тротуару, а по мостовой и все подозрительно оглядывался на тюрьму, а если на дороге встречался городовой, у меня так и екало что-то в груди и появлялось желание пройти мимо него незаметно. Мне все как-то не верилось, что я свободен, и что меня никто не задержит. Стал приходить в себя только тогда, когда весь город уже прошел и очутился на берегу Ангары, около моста. Тут почувствовал такую слабость, что не мог дальше итти; слезы навернулись на глаза, и я заплакал.

И больно, и стыдно было, но слез никак не удержать было. К счастью, никто не заметил. Так я просидел, наверное, около часа, пока окончательно не успокоился. В кармане у меня было восемь рублей. Мне очень хотелось есть. Я купил колбасы, французскую булку за пять копеек и стал утолять голод, запивая тут же купленным квасом. Наевшись, стал думать, что делать. Знакомства в городе никакого. На этот раз никакими адресами не запасся, как это было при высылке меня в Орел. Остановиться в Иркутске боялся: за просрочку меня могли опять арестовать и посадить на три месяца, как за побег, а затем послать в худшую волость, чем назначенная.

Я решил итти на вокзал и ехать к месту нового жительства. На вокзале взял билет и отправился.

XV

В волости я предъявил свои документы, получил новый вид на жительство, в роде паспорта на шесть месяцев, при чем мне объявили, что я не имею права без разрешения переходить за границу данной волости до окончания срока, и отпустили меня на «все четыре стороны». Денег было у меня всего один рубль, одежда и белье—дрянные. Я навел справки: нет ли здесь политических ссыльных, но, к моему несчастью, никого не было. Вижу, дело плохо: заводов и фабрик, конечно, и в помине нет, место глухое, сплошная тайга; крестьяне на работу нанимают, но жалованья не платят: берут за харчи. Все же пошел предлагать свои услуги. Никто не берет: ты-де, паря, городской, да и к тому же малосильный. И верно: физически я был очень слаб,—тюрьма много здоровья у меня отняла,—да и к тому же покашливал. Я не унимался, чувствовал, что если работы не найду,—пропаду окончательно: родные помогать не могли, сами перебивались в Питере «с хлеба на квас».

Палевские рабочие уже год как не делали никаких сборов, так как подобные сборы преследовались жандармерией. С подпольным красным крестом потерял связь в бытность на «Плишкине», да к тому же не было адреса ни одного из партийцев в Питере.

Бежать на один рубль—не убежишь. Положение крайне тяжелое. В волости было много уголовных ссыльных крестьян, по первому разу сидевших на каторге за убийство в драке. Они работали у местных крестьян. Некоторые уже давно здесь жили, поженились и обзавелись своим хозяйством. Я стал их спрашивать. Один хороший парень из Петербургской губернии указал, что можно найти работу на железной дороге в качестве поденного ремонтного рабочего, посоветовал мне туда сходить. Там много работало каторжан, но политических среди них не оказалось. Была весна, требовалось много рабочих, так как крестьяне, работавшие зимой на железной дороге, направились на полевые работы. Я решил попытаться счастья. Пошел. В кармане осталось всего лишь двадцать копеек. Железная дорога проходила в восьми верстах. Пришел к месту, где производилась работа. По их указанию я нашел старшего. Старший произвел на меня хорошее впечатление, и я попросился к нему на работу. Он оглядел меня и говорит:—Какой же ты работник! Что ты будешь делать? Ведь работа тяжелая!—Я опустил голову. Он заинтересовался тем, что я очень молод и успел уже побывать на каторге, и стал вслух предполагать, за что попал; когда же не оправдались его предположения, что я осужден за убийство или поджог, он с изумлением спросил:—Так за что же?—И когда услышал, что я политик, был очень поражен. Он никогда еще не видел политических ссыльных. По его тону я понял, что старший симпатизирует политике и кое-что понимает. С его разрешения я остался ночевать в полуказарме, а утром он обещал сказать, примет меня или нет. Вечером старший меня

напоил и накормил. Я ему подробно рассказал о 9 января, о 1905 годе, о том, как я попал на каторгу.

Уже с вечера мне стало известно, что я завтра могу выходить на работу и что мне будут отпускать в кредит харчи до получки. Я был очень обрадован таким поворотом дела. Ожил и решил, что теперь не пропаду.

Положили мне, как и всем поденным, семьдесят пять копеек в день. Стал втягиваться в работу. Работая на свежем воздухе и хорошо питаюсь (все время молоко и белый хлеб), я стал крепнуть физически. Работали «от солнца до солнца», т.-е. вставали с восходом солнца, делали перерыв на два часа на обед и кончали работу с заходом солнца. А летний день длинный... Проработал я до осени. Истек срок моему шестимесячному паспорту, и я пошел его переменить. Каково же было мое разочарование, когда я узнал о бумажке из Иркутска, извещавшей о том, что я освобожден по ошибке и что меня должны поэтому направить в Иркутск для отбытия срока, а затем—в ссылку в Косостепскую волость, Верхотенского уезда.

По слухам, это была очень скверная волость; не только у крестьян, но и вообще никакой работы не найдешь.

Посоветовался я с писарем, как мне быть. Он помямлил, помямлил и сказал, что все можно сделать. Можно и не посылать в Иркутск, а сговориться прямо с Косой Степью, чтобы выслали паспорт. Эти хлопоты будут стоить рублей тридцать да угощение. Я, не долго думая, решил пожертвовать такими деньгами с условием, что пятнадцать рублей сейчас, а пятнадцать по прибытии паспорта, угощение также. У меня было скоплено двадцать рублей на зимнюю одежду и постель, но все-таки решил как-нибудь вывернуться. Устроил угощение писарю, старшине и уряднику, отдал пятнадцать рублей, взял временное удостоверение и пошел опять в свою полуказарму. Старший рабочий

обещал мне помочь и оставить меня работать на зиму. А физически я окреп настолько, что уже в работе не отставал от других. Один мог таскать шпалы, забивал костыли, кроме того, помогал вести письменную работу старшему рабочему, который был малограмотный. Начал усиленно работать и ждать результатов.

Зимняя работа была легче, но мороз был до того свиреп, что частенько с непривычки приходилось прогуливать дни, а артельный смотрел на эти прогулы сквозь пальцы. Жизнь в этой полуказарме в первое время показалась особенно хорошей. Летом—кругом тайга, воздух сухой. Все это после тюрьмы было раем. Я не мог налюбоваться на природу. Каждый день отдыха от работы я старался использовать для путешествия по тайге. Заберусь, бывало, в глушь и сижу где-нибудь в овражке. Так приятно. Все лето мысль как-то не работала в направлении «политики», и я даже не задумывался о том, что делается на воле. Но зима—дело другое. Времени свободного много, девать его некуда и идти некуда; знакомств я не заводил: с уголовными сойтись не мог, так как они жили в полуказарме и занимались одним лишь пьянством и убийствами. Стал было их уговаривать, вышло мало толку. «Калданов» я боялся больше, чем уголовных: какой-то неразговорчивый народ и ко мне, как к первому политику, относились с недоверием.

Они не могли видеть во мне такого же, как все бывшие «каторжане», ссыльного, не пьющего и не посещающего их деревенские «вечеринки». Они меня еще не разгадали, а потому и относились подозрительно. Мысль начала работать в прежнем направлении. Нужно было вести агитацию, нужно рассеивать темноту, и я стал по вечерам в свободное время рассказывать про Питер, про рабочих на фабриках, про их работу, про 9 января, про расстрелы и прочее. Спорили, но за царя выступать мало было охотников среди сибиряков.

В нашей полуказарме жил молодой парень, мне ровесник, путевой сторож. Он был не из местных жителей, а из России, как там говорят: «самоход». Я его заинтересовал и вызвал в нем охоту к книгам, но на горе он не был грамотный, а сознаться стеснялся. Придет, бывало, ко мне, возьмет книжечку, начнет перелистывать, а сам краснеет. Я догадался. Предложил ему учиться. Он с радостью начал заниматься, и довольно успешно. Старший рабочий, видя, что я могу преподавать, поведал мне свое тайное желание быть железнодорожным мастером, но беда в том, что плохо знал арифметику, главное—дроби. Узнав, что я могу объяснить и дроби, он стал учиться. Таким образом зимние вечера стали проходить с интересом. Я уговорил их выписать газету, и мы выписали. Около газеты мы стали собирать порядочную кучку слушателей; здесь же познакомился я со старшим техником. В беседе он выступал как эсер. Начались споры. Наши слушатели с интересом следили за ними. Техник оказался, на мое счастье, не очень сильным в политике, и я его частенько разбивал. Но так как он был самолюбив, то до горячности я старался его не доводить. Наши слушатели были всегда на моей стороне: ведь во мне они видели такого же простого рабочего, как и они сами, а техник кичился своей интеллигентностью, и, конечно, его недолюбливали. Это он учитывал и частенько в спорах упоминал об этом. В общем же был человек не злой, на донос не был способен и считал донос подлым делом.

Наконец паспорт прибыл. Мое обещание было выполнено. Я был спокоен тем, что меня не тронули. А к работе я уже так привык и так ее изучил, что считался хорошим работником, знающим свое дело. Мастер велел прибавить мне к поденной плате по десятку копеек. Меня сделали как бы подстаршим и давали в мое распоряжение рабочих.

Наступила весна, а за ней очень быстро, как это проходит в Сибири, лето. Прибавилось работы на путях: началась смена шпал. Работа урочная, тяжелая, а жалованье то же. Я стал осторожно уговаривать начать борьбу за повышение зарплаты. Стал среди рабочих других артелей подыскивать надежных ребят.

В конце мая мне удалось организовать группу в пять человек из разных артелей. Повели агитацию. При первом же удобном случае решили предъявить требование о повышении поденной платы на десять копеек. Возможность такая случилась. Собрались все артели для поездки на выгрузку балласта. В это время как раз на станции был начальник отделения, инженер службы тяги. Мы быстро переговорили со всеми рабочими, и они избрали нас пятерых делегатами для предъявления требований к начальнику. Подошли и стали указывать начальнику на тяжесть и спешность работы и малое жалованье. Делегаты говорили, я молчал, так как меня берегли, как ссыльного. Начальник стал называть нас дармоедами и отказал в прибавке. Видим, что ничего не выйдет мирным путем, устроили в вагонах совет и решили объявить забастовку. Балластный поезд уже пришел. Артельные начали предлагать садиться в вагоны, но никто не пошел: все рабочие, а большинство были крестьяне, пошли домой, остальные пошли в полуказарму. Поезд так и остался загруженным. Мои товарищи предложили мне держаться осторожнее, с агитацией нигде не выступать и в делегацию никуда не идти. Я так и делал. Мы ночью собрались побеседовать, наметили план забастовки и разошлись. На второй день опять никто не вышел на работу. Артельные стали приглашать рабочих из деревни, но оттуда, узнав о забастовке, тоже никто не вышел. Видя такое дело, администрация

железной дороги пошла на уступки и на третий день согласилась на прибавку, какую требовали делегаты.

Я никем не был замечен в организации, и о моем участии знали только пятеро да наш старший; они, конечно, никому не доносили. Но жандармерия, видимо, догадалась, хотя фактов у них не было. Меня вызвали к вахмистру, и он прочел мне нотацию. Сколько я ни говорил ему, что ведь это только предположения, что доказательств нет и что нельзя, если я один политический, винить меня в случившемся, все-таки мне поставлено было на вид, что если такая штука повторится, то будет поднят вопрос о ссылке меня в Якутскую область.

Моих товарищей, сибиряков, постепенно уволили, т.-е. решили не брать на работу, да они и не знали об этом: подоспела жатва, сенокос,—и они работали у себя дома. Я остался один. Временно, конечно, стал воздерживаться от призыва к организованному выступлению, но первая легкая победа вскружила головы рабочим, и без особой борьбы мы добились сокращения числа смены шпал (с пятнадцати штук до двенадцати на человека в день), что тоже играло порядочную роль в такой тяжелой работе.

Отсутствие связи с политическими, неосведомленность о том, что творится в рабочих центрах,—все это угнетающе действовало на меня.

А тут война, как снег на голову. Стон, плач по деревням, объявлена мобилизация. Не знаю, как она проходила в России, но там, где был я, крестьяне недовольны были войной, ругали и царя, и войну.

Начали двигаться эшелоны за эшелонами в Иркутск. Мобилизованные по пути разбивали казенки и напились до бесчувствия. Начались неорганизованные выступления мобилизованных крестьян и рабочих. В Тайшете¹ мобилизованные, перепившись, разыскали

¹ Железнодорожная станция в пределах Иркутской губ.
(Прим. авт.)

пристава, который накануне арестовал человек пять отставших, избили его, заставили освободить арестованных и голыми провели с метлой по городу.

Начальника станции заставили плясать «подгорную»¹. Эти же мобилизованные разбили в Барнауле винные лавки и бросили двух офицеров из поезда под вагоны. Они беспрепятственно проделывали все до Иркутска, там их арестовали и человек тридцать расстреляли.

Я определенно был против войны, но вот читаю в «Красноярском Вестнике» перепечатанное письмо Кропоткина, Плеханова и других и недоумеваю. Но так как я не был связан с организациями, а письма перестали поступать из Питера, то решил, что это, вероятно, тактическое признание войны с целью влить в армию революционеров и вести там агитацию против монархии.

Мое заключение было, конечно, наивно, но что же делать! Я так понял и решил идти в армию, а там — агитация и опять подпольная работа.

Написал заявление о желании вступить в армию. Каково же было мое возмущение, когда мне ответили, что такие-де не должны марать солдатского мундира. «Повидимому, — подумал я, — царские слуги угадали, с какой целью я собрался идти в армию». Впоследствии я узнал, что очень многие из политических стремились в армию, и всем отвечали так же, как мне. Как видно, боялись нас пустить в армию.

Война продолжалась. Начались мобилизации за мобилизациями; в деревнях остались малые, старые да женщины. Слезы, плач. Судя по газетам, война приняла зверский характер. Убивали сразу тысячами. Брало зло: до чего наш брат глуп, что за интересы богатого класса шли на убой миллионы тружеников, интересы которых были совершенно противоположны интересам

¹ Пляс под частушку. (Прим. авт.)

богатых. А какая прибыль ждала их от победы? Разве что более худшая нужда.

Ужасы войны росли. Сибиряков всех поголовно послали на фронт. Начали поговаривать о мобилизации бурят, которые раньше на военную службу не призывались. Война забирала всех людей и истребляла их десятками тысяч. Военные власти раскинули повсюду свои агентства по мобилизации, открыли недалеко от Алзая целую народность, которая раньше не выполняла ни военной службы, ни гражданских обязанностей. Царские власти и не знали раньше о существовании такого народа.

Этот народ за грязный и дикий вид назывался на местном наречии «чунари»¹. Когда их мобилизовали и вели целыми партиями на станцию, они ревели, как малые ребята; они не имели никакого представления о войне, не знали, куда их отправляют. Но не только «чунари», но и все остальное население, которое раньше не служило, было призвано, а потому в Сибири почувствовался большой недостаток в рабочей силе. Если раньше ссыльных брали на работу только в особо-исключительных случаях, то теперь с радостью брали всех, кто только хотел работать и был в состоянии.

¹ Ч у н а р и — повидимому, потомки некогда скрывавшихся в лесах сектантов. Жили в тайге, верст 300—400 от Алзая; алзайские жители их знали, с ними приходилось встречаться на охоте; знали также, что они очень любят водку, за которую хорошо платили дичью. Происхождение этого народа явно русское, но они одичали. Они занимались хлебопашеством, разводили много скота, а также, как и все местные жители, занимались охотой. При встрече чунарь оставлял впечатление темного, дикого человека: волосы носил длинные, но бороду и усы подстригал. Одежда же обычная, сибирская: бродни, шляпа и цыганские шаровары. Открыли этот народ случайно при прокладке шоссе на чугуно-литейный завод, находящийся на Ангаре. (Прим. авт.)

Я слышал раньше о Черемхове и о том, что там много угольных шахт и колония ссыльно-поселенцев. Меня давно туда тянуло. С одной стороны, я хотел связаться с полит-ссылкой, а с другой—на шахтах заработок был несравненно больший, нежели на железной дороге. Правда, в шахтах работа тяжелее, но это меня не страшило. Задерживал паспорт, без которого я не имел права выехать дальше волости. Но вот пришел паспорт из Косостепской волости. В нем было сказано, что он выдан на год с правом жительства по всей Иркутской губернии, за исключением губернского и уездных городов.

Хотя в Черемхове населения было больше, нежели в уездном городе, все же это было местечко. Я решил попытать счастья. Взял расчет, получил на руки десять рублей и поехал. В Черемхове знакомых у меня не было. Я остановился на квартире у шахтера, местного жителя Щелкуновских копей. Из рассказов шахтера я узнал, что поступить на Щелкуновские копи нет никакой возможности, ибо народ уже набран, а что можно попытаться поступить на Комаровские рудники. Иду. Показывают штейгера, который набирал народ. Он расспросил, кто я, откуда. Пришлось рассказать подробно. Несмотря на то, что я ссыльный, меня взяли, но предупредили, что я буду работать в качестве коногона, с платой в девять копеек. Думаю: «Вот так заработок!» Но что же делать! Жить надо. Вышел на работу, и меня направили сначала сцепщиком вагонов и разгрузчиком породы. Работа эта не очень сложная, но требующая сноровки, в особенности для малосильного. Через неделю меня перевели в шахту коногоном для перевозки в гору порожняка. Утром мне выдали на конном дворе лошадь и назначили место стоянки и отвозки. Как новичку, дали старую лошадь, которая работала в шахте лет двадцать

и все порядки знает. Я был обижен, что мне не доверяют хорошей лошади, но впоследствии оценил, что это было за умное животное. Лошадка, например, так привыкла к работе и к возке известного количества порожняка, что никогда нельзя было ей прицепить лишний вагончик. Однажды мне подвезли девять вагончиков вместо восьми, и я захотел, не желая оставлять вагон, прицепить все девять. Лошадь начала тянуть, но так тихо, что цепи, которыми сцеплялись вагончики, прозвенели тлинь-тлинь-тлин; обычно, при восьми вагонах, этот звук повторяется семь раз, и лошадь при этом как будто прислушивается. Но на сей раз вместо семи повторилось восемь раз. Как только она почувствовала это, то немедленно остановилась и не повезла. Так и пришлось мне отцепить лишний вагон. Был другой случай, когда она и себе и мне жизнь спасла. Я вез вагончики в гору, а впереди меня шли вагончики другого коногона. Обычно, когда везут порожние вагончики, они очень тарахтят. В шахте было темно, а просечка была с закруглениями, и я впереди себя ничего не видел. Вдруг я почувствовал, что моя лошадь ударила ногой в валик, сбила его, а сама завернула в просечку. Я растерялся и хотел было удержать лошадь, но, посмотрев случайно вперед, увидел, как весь состав вагончиков переднего коногона несется на меня. Я поспешил спрыгнуть и вместе с лошадью вскочил в просечку. Вагоны переднего коногона налетели на мои, и произошло крушение. Так моя лошадь спасла меня от увечья, а может быть, и от смерти. С этого дня я стал любить лошадь и обращаться с ней ласково.

С коногонов меня перевели на другую работу, починку пути, и мне приходилось работать с раннего утра до позднего вечера. Я стал привыкать к шахте.

Первое время я очень скверно чувствовал себя в ней. Мне казалось, что вот-вот земля обвалится—и капнут всем работающим. Был, например, такой случай:

в один воскресный день я остался в шахте для починки пути и плит. Кроме меня, никого не было, работал с огнем. Вдруг слышу: что-то зашумело, грохнуло. Поднявшийся ветер погасил огонь и сорвал шапку с головы. Я с испугу понесся по просечке к выходу. Бежал, конечно, в темноте, ударился о крепи, разбил нос, упал и только тогда пришел в себя и стал зажигать карбидку. Впоследствии я привык к таким обвалам в выработанных «стульях» и не обращал на это внимания. Конечно, были и несчастные случаи: это общее явление в русских шахтах. Таких случаев при мне было два. Один был довольно удачный. Артель шахтеров вырабатывала «стул». Подкалка была уже взята, человека четыре ушли за порожними вагонами для угля, а двое начали крепить. В это время прорвало потолок, и так быстро вслед посыпался песок, что шахтеры не успели выскочить, и одного из них засыпало до плеч, а другого, пытавшегося бежать, сшибло и засыпало ему только ноги.

На их крики сбежались шахтеры, быстро заделали дыру и таким образом спасли их. Когда их откопали, то тот, у которого были засыпаны только ноги, не мог встать, хотя и шевелил руками, а другой, который был засыпан до плеч, не мог двигать ни ногами, ни руками. Они пролежали в больнице больше месяца.

Второй случай был совсем неудачный: один шахтер в просечке брал верхний пласт. Он подрубил его с боков и начал постепенно подрубить сверху. Не успел он отскочить, как кусок угля, пудов в пятьдесят, упал ему на ноги и, конечно, придавил насмерть. Подобные случаи шахтеры отмечают тем, что не работают, а идут хоронить своего товарища. Работая по ремонту и приглядываясь к работе шахтеров в забоях, я решил бросить свою работу и попробовать работать забойщиком. Две причины толкали меня на это: первая—та, что забойщики работали сдельно и, если подбиралась хорошая артель, зарабатывали два-три рубля

в день; вторая—хотелось себя испытать. А так как на Комаровских рудниках забои были заполнены народом, то я перешел в соседние шахты; там как раз разрабатывалось новое место, и нуждались в забойщиках. Подобрал я себе двух товарищей, и мы взяли забой. Но так как из нас двое были молодые шахтеры, а третий очень старый, то мы со своим забоем провалились. На второй месяц мы умудрились обвалить свой забой, а очищать пришлось его почти бесплатно. Обвал получился по нашей вине: по неопытности. Мы неправильно крепили. После этого я решил идти в хорошую артель уже не забойщиком, а вывозить уголь из забоя на главный путь, откуда отвозили дальше на лошадях. Поступил я на Щелкуновские копи в артель квартирного хозяина. Там мне платили поденно два рубля. Конечно, тоже приходилось брать и мне кайло и в день вывозить вагончиков сорок угля из забоя. Вагончики были пудов на семьдесят пять, вывозить приходилось по рельсам саженой за двести-триста. Расстояние, конечно, было не важно, а важно было количество плит, на каждой из которых приходилось поворачивать вагончик.

Сколько мне ни приходилось работать в жизни на фабрике либо на железной дороге, в ремонте или матросом, тяжелее работы забойщика я не встречал. Долбить или, по-шахтовскому, койлить уголь вручную очень трудно, а в особенности трудно, когда приходится делать просеки «стречников»¹. Встречный уголь крепкий. Кайлишь, и отлетают маленькие кусочки угля. Это страшно надоедает и страшно устает, а за день так отобьешь руки, что они становятся как плети, и вечером—не до вечорок, не до гулянья: как поужинаешь, так и спать скорей. Ночью

¹ Обычно разрабатывают уголь в том же направлении, в каком идет жила или пласт угля. В этом случае шахтеры называют пласт «попутником», «Стречником» же они называют пласт угля тогда, когда он лежит боком к забойщику. (Прим. авт.)

спишь, а руки все время бьются о стенку или о кровать. За такую каторжную работу платили очень дешево. Правда, по сравнению с другими вольными рабочими, шахтеры и зарабатывали больше, но зато шахтер должен был усиленно питаться и в неделю обязательно отдыхать не сорок два часа, а вдвое больше.

Тогда разрешался только сорокадвухчасовой отдых, но шахтеры всегда на второй неделе, сразу же после полочки, прогуливали дня два. А Пасху, масленицу и Рождество обязательно прогуливали по неделе. Самое тяжелое время для шахтера—лето. Жара на улице, духота в шахтах. Погожий день наверху тянул шахтера вон из шахты. Этим и объясняется, что летом шахтовладельцы не надеялись дать большой выработки и старались нагнать зимой.

Летом шахтер, если есть возможность, пойдет лучше работать к крестьянину или на железную дорогу, нежели в шахту.

Начали прибывать в Черемхово с каторги ссыльные, мои знакомые по совместной сидке. Среди них были большевики, социал-революционеры, анархисты и меньшевики. Публика нерабочая сразу же поступила в шахту, а мастеровщина—на завод Щелкунова в слесарный и токарный цеха. Начинается у меня снова идейная связь, есть с кем поделиться своими взглядами и поспорить. Те, которые работали в шахте, подняли вопрос за повышение заработка. До моего поступления в шахты, в 1914 году, в этих коях была забастовка, но довольно неудачная. Шахтеры помнили свои неудачи и на агитацию поддавались туго, в особенности это относилось к вольной публике, которая боялась, что ее отправят в армию. Да и среди ссыльных наблюдался раскол. Всех почему-то тянуло хотя бы нелегально пожить в Иркутске. Многие там уже устроились, найдя «липу», т.е. поддельный паспорт. Несмотря на это, многие товарищи все же вели

работу, и в первых числах февраля 1917 года разразилась забастовка. Забастовали шахтеры в Щелкуновских коях.

До нас доходили смутные слухи о жутких репрессиях в армии. По газетам чувствовалось, что Государственная Дума в боевом настроении, а отсюда делали вывод, что не все благополучно в России. Хотя известия доходили с опозданием, все же это настроение чувствовалось в переговорах забастовщиков с администрацией, которая шла на некоторые уступки. В особенности это стало ясно, когда из Иркутска приехал жандармский полковник, очень мягко разговаривал с рабочими, все увещевал и говорил, что он вступится и заставит шахтовладельцев уступить. Но забастовка все же тянулась. Как та, так и другая сторона не уступала. Конечно, я не являлся руководителем этой забастовки, но в шахте, в кругу шахтеров, в особенности на квартире, где собирались шахтеры со всех почти артелей, я вел агитацию за настойчивую забастовку и проявил очень много инициативы для ее проведения. Так, после беседы с шахтерами на нашей квартире было принято и проведено мое предложение о снятии верховых (надземных) рабочих, которые все время работали и не принимали участия в забастовке. Они непрерывно грузили уголь из штабелей в вагоны и давали питание паровозам, так что железная дорога не чувствовала заминки. Как только верховые рабочие забастовали, железная дорога сразу почувствовала недостаток в угле, и администрация сделалась более уступчивой.

XVIII

Накануне 1 марта 1917 года мне по секрету передал телеграфист с железной дороги, что царя уже нет. 1 марта из Иркутска приехал комиссар для организации новой власти. В эту же ночь ссыльные

организовались в боевую дружину, хотя ни у кого не было ни одного револьвера. Быстро арестовали пристава и полицию, конных и пеших стражников, и я, получив новенький наган с патронами, чувствовал такое же боевое настроение, как в годы первой революции, когда впервые вступил в боевую организацию. Всю ночь мы ходили вооруженные, охраняя спокойствие и революционный порядок, опасаясь, однако, не будет ли откуда нападения солдат либо полиции. Но на утро солдаты, которые перед этим были присланы из Иркутска, сами с красным флагом стройно подошли к нашему штабу и пожелали взять на себя охрану Черемхова.

Начались собрания, выборы шахтерских депутатов. Освобождение от царского ига так подействовало на ссыльных, что при встрече друг с другом мы терялись, не зная, что сказать, большей частью расходились с раскрытыми ртами, так и не передав своего глубокого чувства удовлетворения и радости. А если ссыльный выступал на митинге, то нередко от радости не мог говорить. Ссылка чувствовала, что недаром страдала, что брошенное ею семя свободы начало всходить. Но на ряду с этим чувствовалось, что это только начало. Я тогда видел, что в городские советы проходят шахтовладельцы и местные купцы. Вместе со Щелкуновым, шахтовладельцем, сидят эсеры и меньшевики и некоторые большевики, еще не разобравшиеся в политической обстановке.

Среди ссылки начался раскол. Я уже чувствовал, что многим из нас с другими ссыльными не по пути, и когда мы пробовали протестовать и выдвигать свои лозунги (правда, среди нас большинство были анархисты), то те, с кем мы вместе сидели, вместе боролись, не преминули нас назвать уголовными бандитами и вели против нас агитацию среди шахтеров и окрестных крестьян.

Я еще больше почувствовал что-то неладное. Все это меня смущало невероятно. Я знал, что в Петрограде во Временном правительстве эсер Керенский¹, и что в Иркутске председателем городского совета — социал-революционер Гоц, с которым я гулял на одной прогулке в доме предварительного заключения и который судился за покушение на николаевскую собаку — Римана, задавившего московское восстание. Там же, в Иркутске, социал-демократ Церетелли, речи которого во Второй Государственной Думе давали бодрость и надежду рабочему классу на дальнейшую борьбу за победу. Я терялся, ибо теоретически я был малограмотный. Я не думал, что среди социалистов будет такая пропасть, которая уже наметилась сразу же после свержения Николая Романова.

Решил взять расчет, распродать свое имущество и бежать в Питер. Там-де я разберусь. Бежать хотелось еще и потому, что хотя и ходили слухи об амнистии, но не было терпения ждать, тянуло в Питер, в тот Питер, который, как и прежде, бурлил, и в котором я приобрел революционную закалку.

Я думал, Питер рассеет все мои сомнения и опять направит меня на правильный путь революционной борьбы с поработителями рабочего класса.

Мои мечты впоследствии оправдались. В Питере я быстро усвоил положение и взял правильную линию в революционной борьбе с угнетателями рабочего человека.

¹ Керенский, Гоц и Церетелли, несмотря на их революционную фразеологию, оказались самыми заурядными мелкобуржуазными болтунами и все скатились в лагерь контр-революции, выступив против диктатуры пролетариата. (Прим. авт.)